ЛЕОНИД
ГРОССМАН
ИСПОВЕДЬ
ОДНОГО
ЕВРЕЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге известного литератора Леонида Гроссмана на фоне авантюрно-романтической судьбы каторжника Аркадия Ковнера, вступившего в полемическую переписку с «антисемитом» Достоевским, поднимается один из «проклятых» вопросов российского общества — еврейский.

-
- БУ́ДИ ЛИ?
- ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
- ГЛАВА ПЕРВАЯ
- ГЛАВА ВТОРАЯ
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
- ГЛАВА ПЯТАЯ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Приложение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

ИСПОВЕДЬ ОДНОГО ЕВРЕЯ

«…Я возымел мысль сделаться реформатором моего несчастного народа».

Из письма Авраама-Урии Ковнера к Ф. М. Достоевскому.

БУ́ДИ ЛИ?
РОССИЯ, ДОСТОЕВСКИЙ, ЕВРЕИ

У книги, которую читатель сейчас держит в руках, — необычная судьба. Она вышла в свет в 1924 году в Москве и Ленинграде мизерным даже по тем временам тиражом 2000 экземпляров. Сразу после публикации книга стала библиографической редкостью. К тому же первое ее издание на русском языке оказалось единственным. Правда, в 1927 году в Мюнхене был напечатан перевод «Исповеди…» на немецкий, — для русскоязычного читателя это значения не имело.

Имя ее автора — Леонида Петровича Гроссмана — было хорошо известно любителям художественной литературы. Прежде всего как писателя, — в 30-е годы его художественно-биографические романы и повести издавались многотысячными тиражами. Его роман «Записки Д'Аршиака» — увлекательное повествование о дуэли и смерти Пушкина, написанное в форме мемуаров секунданта Дантеса, — передавали из рук в руки. Не меньшей популярностью пользовались и другие произведения Л. Гроссмана — повести «Рулетенбург», «Бархатный диктатор» и проч. Блестящий стиль, искусство психологического анализа, мастерство воссоздания колорита эпохи в сочетании с эрудированностью автора обеспечивали притягательность его книг для читателей самых разных слоев общества. Широкую известность получил Л. Гроссман и как литературовед и театровед — один из самых серьезных исследователей творчества Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Лескова и других крупнейших русских литераторов. Особое значение имели его исследования литературного наследия Достоевского. Этой темой он занимался всю жизнь и посвятил ей несколько широко известных в свое время монографий. Для них было характерно сочетание подлинной научности с живостью изложения. Последняя из них — большая научно-популярная книга «Достоевский» — вышла в свет в 1962 г., за три года до смерти Гроссмана. Современные достоевсковеды во многом опираются на результаты его изысканий.

Однако книга «Исповедь одного еврея», принадлежащая перу того же автора, оказалась прочно забытой. О ней знают сейчас разве что специалисты, изучающие художественные произведения и публицистику Достоевского. Более того — эту книгу явно стремились замолчать: упоминаний о ней не найдешь ни в монографиях, посвященных творчеству Достоевского, ни даже в

«Литературной энциклопедии» — в краткой справке о жизни и произведениях Л. Гроссмана. Этому, думается, есть несколько причин.

Одна из них — характерное для официального советского литературоведения отрицательно-критическое отношение к Достоевскому. Другая связана с содержанием книги и ее героями. Уж слишком взрывоопасной и больной теме посвятил ее Гроссман.

Уже с середины XIX века и до октября 1917 года еврейский вопрос — положение евреев в России, отношение к их роли в обществе, реакция на погромы и другие формы преследований и дискриминации — приобретал все большую остроту и привлекал все большее внимание общественности. Февральская революция 1917-го сделала лишь первый шаг в решении этого вопроса, отменив черту оседлости и провозгласив гражданское равноправие евреев в России. Октябрь 1917 года вовсе не снял его остроты. Он лишь видоизменил его формы. Провозгласив новую национальную политику, утверждая «братский союз всех народов», большевики заявили, что им наконец-то удалось снять еврейский вопрос с повестки дня. В действительности его загнали в подполье. Но и там он продолжал свою жизнь, раскрывая новые грани. Активное участие евреев в Октябрьской революции и в первые годы после нее — в политической жизни советского общества не осталось бесследным. Оно привело к активизации антисемитизма, также приобретшего новые — лицемерные — и потому еще более отвратительные черты. Табу, фактически наложенное на все, связанное с положением советских евреев, сказалось и в области литературы, и в прессе. Если в первые годы после революции еще печатались книги и брошюры, связанные с этой темой и выступавшие против антисемитизма, то после прихода к власти Сталина и его сторонников этому был положен конец. А после окончания Великой Отечественной войны и особенно после образования в 1948 году государства Израиль на советских читателей обрушился мощный поток так называемой антисионистской — примитивно замаскированной юдофобской, а подчас и открыто антисемитской литературы.

Поэтому такой интерес представляет для нас сейчас небольшая книга Гроссмана. Настоящее ее переиздание — это, по существу, прорыв направленной против нее многолетней негласной блокады. Блестяще написанная, она читается, как говорится, на одном дыхании. И главное — за почти семьдесят лет, прошедших после первой публикации, книга нисколько не потеряла актуальности. Наоборот, сейчас она дает читателям возможность задуматься над значением еврейского вопроса в

жизни нашего общества, над опасностями для демократии, возникающими с усилением антисемитизма.

Что же обеспечивает эту ее актуальность и интерес для современного читателя? Несомненно, три ее героя и связанные с каждым из них истории. Первый из них — Авраам-Урия Ковнер, жизнь которого и составляет сюжет и стержень всего повествования. Второй — Федор Михайлович Достоевский, чей жизненный путь в какой-то момент соприкоснулся с судьбой Ковнера. И за их фигурами незримо стоит третий — главный — герой этой книги — еврейский народ.

Читатель — любитель художественных биографий, посвященных жизни великих людей, оставивших памятный след в судьбах народов, в развитии национальной или мировой культуры, вправе задать естественный вопрос: чем же привлек внимание Гроссмана первый герой его книги? Что исключительного в биографии этого выходца из еврейских кварталов Вильнюса, ставшего затем одним из российских журналистов, имена которых забываешь на следующий день после появления газеты с их очередной публикацией? Бывает, однако, что знакомство с жизнью казалось бы ничем не выдающегося человека помогает лучше понять особенности целого периода общественного развития. Художественное чутье не обмануло автора книги. Натолкнувшись в ходе своих исследований на материалы, свидетельствовавшие о необычных для своего времени действиях неизвестного ему лица, он пошел по его следам и не успокоился до тех пор, пока перед ним не встала странная, но во многих отношениях привлекательная фигура героя его будущей книги.

Сама по себе жизнь Авраама-Урии, а позже — Аркадия Григорьевича Ковнера, могла бы дать обильный материал для увлекательного авантюрно-детективного романа. Несомненно, это была личность незаурядная, талантливая, ярко выявлявшая себя в своих поступках, высказываниях и сочинениях. Не зная до девятнадцати лет ни слова по-русски, он сумел затем за поразительно короткое время не только овладеть русским, немецким и французским языками, но и с успехом изучить русскую и западноевропейскую литературу, основы современной ему русской и зарубежной философии. Самоучка, так и не получивший университетского образования, он в течение нескольких лет не без успеха подвизался как журналист на страницах нескольких петербургских газет. В том числе как обозреватель известной либеральной газеты «Голос» А. Краевского, где вел еженедельное обозрение «Литературные и общественные курьезы». После выхода в свет романа

Достоевского «Бесы» Ковнер несколько раз выступил с критическими замечаниями в адрес автора. Однако его литературно-критическая деятельность вызвала недовольство столичных властей, и Ковнер вынужден был уйти из газеты. Он нашел работу в одном из петербургских банков, где вскоре начался новый — трагический — период его жизни.

Л. Гроссман не без оснований находит в Ковнере черты, сближающие его с жизнями Спинозы и португальского еврея Габриэля Да-Коста (в России он был известен как Уриэль Акоста). Как и они, еще в молодости он выступил против ортодоксального иудаизма. Его статьи на древнееврейском языке, в которых он призывал к реформе образования еврейской молодежи, к отказу от замшелых догматов, вызвали бурю. Ортодоксальная еврейская печать называла Ковнера «предателем» и «разрушителем». Но эти нападки лишь укрепляли его стремление «сделаться реформатором» своего народа.

Такая же буря разразилась через некоторое время уже в русской печати — в связи с другим поступком Ковнера и последовавшим за ним судебным процессом. Увлекающаяся натура, он со страстью следил за русской литературой. Преклонялся перед Писаревым и подражал ему в своей публицистике. Читал и перечитывал каждое новое произведение Достоевского и Льва Толстого. Его потряс образ Раскольникова. Мысли этого литературного героя о праве гения на преступление во имя будущих добрых дел получили живейший отклик в душе Ковнера. Задумав помочь нищей еврейской семье, в доме которой он жил, Ковнер разрешает себе преступить закон. Получив по подложному переводу в московском банке огромную по тем временам сумму, он пытался бежать за границу, но неудачно. Его задержали и препроводили в Москву. Здесь и состоялся процесс, который освещала вся российская печать. Подсудимый был приговорен к четырем годам арестантских рот. После этого последовала ссылка в Сибирь, жизнь в Томске, Омске, возвращение в Россию, поиски работы и, наконец, тихая пристань в Ломже — польском городке, где он получил место чиновника. Здесь он и скончался в 1909 году, за несколько лет до смерти приняв христианство, чтобы вступить в брак с полюбившей его русской женщиной. В последние годы своей жизни Ковнер развил активную деятельность в защиту евреев, обратился в правительство с запиской о предоставлении им равноправия, в своей переписке со многими русскими общественными деятелями выступал против пропаганды антисемитизма, гневно осуждал организаторов еврейских погромов в Кишиневе и других городах.

Наверное, всего этого было бы достаточно, чтобы побудить

Гроссмана отобразить столь красочную биографию в форме беллетризованного жизнеописания. Но было еще одно обстоятельство, усиливавшее его интерес к жизни Ковнера. Дело в том, что на разных ее этапах этот малоизвестный журналист, а позже — маленький чиновник вступал в длительные контакты с некоторыми самыми крупными российскими литературными и общественными деятелями. Чаще всего такие контакты проходили в форме переписки, к которой иногда присоединялись редкие случайные встречи. Эта переписка раскрывает не только и не столько взгляды самого Ковнера, сколько обогащает наше представление о важных сторонах жизни и деятельности известных русских писателей и мыслителей.

Среди них был В. В. Розанов — один из плеяды крупнейших русских философов начала века. С 1901 года и вплоть до своей смерти Ковнер обменивался с ним письмами, обсуждая не только положение евреев в России, но и проблемы религии, атеизма и другие темы. В собственных публикациях Розанов дал весьма лестную оценку взглядам своего ломжинского корреспондента, назвав его «еврейским Писаревым» и подчеркнув высокую нравственность и чистоту его помыслов и высказываний.

Среди адресатов, которым писал Ковнер, был и Лев Толстой. В немецком издании «Исповеди…» Л. Гроссман опубликовал фрагменты двух писем, пришедших в Ясную Поляну из Омска. Они хранились в архиве Толстого. Их автор рассказывал писателю о своей жизни и задавал ему вопросы, относящиеся к его пониманию роли философии. Письма эти, по-видимому, остались без ответа.

Но наибольший интерес для каждого, кто знакомится с жизнью Ковнера, представляет его переписка с Достоевским. Не только ее содержание, но и все, что было с ней связано, и обеспечивает актуальность книги Л. Гроссмана для современного читателя.

Незадолго до ссылки в Сибирь Ковнер прочитал случайно попавший в его тюремную камеру номер журнала Достоевского «Гражданин» с очередным выпуском «Дневника писателя». Заключенный был глубоко задет антиеврейскими выпадами знаменитого литератора. Он решил обратиться к Достоевскому с просьбой ответить на волновавшие его вопросы. Это послание, а затем и второе письмо Ковнера в начале 1877 года с помощью адвоката были переданы адресату. И уже в феврале Ковнер получил письменный ответ на свои вопросы. На этом его переписка с Достоевским, принявшая характер острой полемики по еврейскому вопросу, закончилась, — заключенного направили по этапу в арестантские роты.

Два письма из Бутырской тюрьмы произвели на Достоевского сильнейшее впечатление. Содержание этих посланий, значение поставленных в них вопросов для самого Достоевского, форма изложения, свидетельствовавшая о несомненном литературном даре автора, наконец, исповедальный характер писем — все это не могло не заинтересовать знаменитого писателя. Среди множества писем, которые он получал ежедневно от своих читателей, наверное, редко встречались такие, чьи авторы признавались в том, что литературные образы, созданные писателем, и его идеи подвигали их на действия, определявшие всю их дальнейшую судьбу. И более того — требовали нравственной оценки, духовного приговора, который могли бы соотнести с приговором светского суда. Исповедь Ковнера, рассказавшего обо всей своей жизни, о роли идей Достоевского, связанных с образом Раскольникова в его романе, убеждение в своей невиновности и отказ от раскаяния — все это настоятельно требовало ответа.

В своем ответном письме в Бутырскую тюрьму исповеди заключенного писатель противопоставил свою исповедь, правда — сочетая ее с проповедью и увещеванием.

Просьбу Ковнера дать нравственную оценку его преступления Достоевский удовлетворил решительно и не колеблясь. Исходя из законов высшей нравственности, он фактически выносит заключенному оправдательный приговор, заявляя, что смотрит на «дело» Ковнер так, «как Вы сами о нем судите». Однако свой акт морального прощения Достоевский сопроводил пожеланием: найти тот нравственный идеал, стремясь к которому осужденный никогда более не смог бы преступить в своих действиях границу допустимого.

Нас не может удивить это решение столь сложного нравственного вопроса, — оно вполне соответствовало мировоззрению Достоевского, снова освещая лучшую сторону его натуры, его отношение к людям.

Однако в ответе на другой вопрос бутырского арестанта раскрылась иная — далеко не самая светлая — грань его воззрений, не самая привлекательная черта его характера.

Обращаясь к писателю, Ковнер не ограничивался исповедью и просьбой нравственной оценки своих действий. Он счел возможным, высказывая знаменитому собеседнику все свое уважение, задать ему несколько неприятных вопросов и, более того, выразить решительное несогласие с некоторыми его утверждениями. Этот несбывшийся еврейский реформатор, автор книг и статей, вызвавших приступ возмущения у ортодоксальных иудеев, решил тем не менее вступиться перед Достоевским за

российских евреев. С недоумением и горечью он обращался к почитаемому им человеку с вопросами о причинах его нескрываемой неприязни к евреям, упрекал его в необъективности и предвзятости, обвинял в незнании жизни и истории еврейского народа. Он полемизировал с высказываниями Достоевского о роли евреев в России, стремился опровергнуть обвинения в их адрес. И без стеснения спрашивал, как согласуется вражда Достоевского к еврейству с его проповедью христианской любви и христианскими принципами.

Эти вопросы и упреки, видимо, столь задели писателя, что он счел необходимым дать на них ответ в своем письме. Читатель сам сможет прочитать в книге его текст. Заметим лишь, что, пытаясь отвести от себя упреки во враждебности к евреям, Достоевский уже здесь проявляет двойственность, стремясь одновременно найти аргументы в защиту своих прежних выступлений. Главный из этих аргументов — утверждение, что евреи сохраняют в России status in statu — своеобразное государство в государстве, вследствие чего неизбежно вступая в противоречия с коренным народом — русскими.

Однако Достоевский, по-видимому, не был удовлетворен ответом в письме лишь одному частному лицу; с такими же упреками к нему обращались авторы и других писем. И он решил объясниться по затронутым ими вопросам публично. Переписка с Ковнером явилась для писателя поводом к публикации в марте 1877 года в журнале «Гражданин», редактором которого он являлся, целой главы своего «Дневника писателя». Глава эта состояла из четырех разделов: 1. Еврейский вопрос, 2. Pro и contra, 3. Status in statu. Сорок веков бытия, 4. Но да здравствует братство! — и была полностью посвящена еврейской теме. Автор развивал здесь ряд мыслей, сжато изложенных им в письме Ковнеру. Не раскрывая его псевдонима, Достоевский обильно цитировал отрывки из «прекрасного во многих отношениях» письма «одного весьма образованного еврея». И разворачивал полемику с ним, пытаясь ответить на все упреки в свой адрес.

Эту главу, публиковавшуюся в собраниях сочинений Достоевского, многие называют Библией русских антисемитов. Действительно, некоторые из идеи ее автора стали одним из основных аргументов, используемых во все времена русскими расистами и особенно антисемитами в их пропаганде, направленной против «инородцев», прежде всего — против евреев. Не случайно современные российские национал-патриоты пытаются превратить Достоевского в свое знамя, цитируя и перепечатывая его высказывания, в частности из указанной главы. Для этого у них есть основания. Такие же, как у гитлеровцев,

разбрасывавших во время войны над окопами советских бойцов листовки с цитатами из той же главы Достоевского.

В конце книги Л. Гроссман поместил приложение — свою статью «Достоевский и иудаизм». Наверное, это — одно из самых серьезных исследований темы, волновавшей автора и, к сожалению, сохранившей свою актуальность накануне XXI века. Других столь глубоких и масштабных публикаций по данному вопросу в советский период истории России мы не знаем.

Соглашаясь с основными положениями и выводами этой статьи, следует, однако, присовокупить к ним некоторые замечания и добавления. Сама жизнь требует переосмысления старых проблем.

Да, Достоевский неприязненно относился к евреям, — это несомненно. Более того, он пытался как-то теоретически обосновать свой антисемитизм. Чувство юдофобии усиливалось у него со временем и наиболее остро проявилось в последний период жизни — с начала 70-х годов. Прежде всего — в публицистике, особенно на страницах «Дневника писателя», много слабее — в художественных произведениях. Можно, конечно, отметить, что Достоевский немногим лучше относился к представителям и других народов, напомнить о карикатурно-издевательских образах поляков в его повестях и романах, о презрительно-иронических характеристиках немцев и французов в его статьях… Это так. И все же никогда и нигде в его печатных выступлениях не скапливалось столько желчи и яда, как в текстах, где он высказывался о евреях.

Но это был странный антисемит. Он не похож на многих юдофобов — как прошлого, так и современных. Он не одержим ненавистью к евреям и не теряет способности воспринимать аргументы, опровергавшие его доводы. Да и не столь уж постоянен в своих суждениях о качествах этого несимпатичного ему народа. Юдофобские высказывания чередуются у него с признанием исторической роли «великого племени», его необыкновенной жизненной силы и констатацией того, что существует «некая идея, движущая и влекущая» этот народ. «Нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнесть своего последнего слова».

Мы могли бы ограничиться констатацией того, что Достоевский так и не нашел достойного ответа на вопросы и обвинения Ковнера ни в письме к нему, ни в «Дневнике писателя», что аргументы, которыми Достоевский пытался оправдать свое враждебное отношение к евреям — от вековечного стремления к эксплуатации других народов с помощью «золотого промысла» до ненависти к русским, — не выходят за границы

хорошо знакомого и привычного круга утверждений на эту тему. Однако именно Достоевский впервые свел в своеобразную систему все возможные реальные доводы и фантастические измышления, которые постоянно предъявляют как обвинение еврейскому народу.

Именно в ходе полемики Достоевского с Ковнером отчетливо высветились две ипостаси великого русского писателя, два его духовных лика. В ходе этой полемики Достоевский непрерывно борется с собой. Провозглашает взаимоотрицающие положения, выдвигает очередное обвинение и вскоре предполагает возможность оправдания. Опускается до самых черных наветов на еврейство и затем со страстью уверяет читателей, что он не враг евреев. Ярче всего это видно, наверное, в последнем разделе его главы из «Дневника писателя», который он напечатал под многозначительным заголовком «Но да здравствует братство!».

Достоевский призывает здесь к «прекрасному делу настоящего братского единения» между русскими и евреями. Но как бы сам пугается сказанного и спешит его перечеркнуть. Для этого излагает пришедшую ему на ум «фантазию» о том, что, получив равные с русскими права, евреи могут «всем кагалом» нахлынуть на освободившихся от сельской общины мужиков, и тогда настанут времена похуже крепостничества и татарщины. Опомнившись, скажет, что все-таки стоит «за полное и окончательное уравнение прав потому, что это Христов закон», потому что это христианский принцип, и тут же — не переборщить бы! — замечает, что видит здесь препятствия не столько со стороны русских, сколько в гораздо большей степени со стороны самих евреев. Поскольку именно сами евреи с предубеждением относятся к русским и, часто соединяясь с врагами русского народа, обращались в его гонителей. Правда, фактов, подтверждающих это тяжкое обвинение, Достоевский не приводит, и оно, как и многое другое, остается на его совести.

Однако Достоевского недаром называли совестью русского народа. Все метания и искания приводят его в конце концов к однозначному и важнейшему выводу. «Но „бу́ди! бу́ди!“», — восклицает он, делясь своей мечтой о всеобщем братстве. — «Да будет полное и духовное единение племен и никакой разницы прав!.. и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему!».

Нет, не случайно, пропагандируя тексты Достоевского, цитируя и комментируя их, современные антисемиты как правило опускают и замалчивают окончание его главы, посвященной еврейскому вопросу. Еще бы! Фанатизм — безразлично,

политический, религиозный или национальный — всегда бесчестен. Националистические фанатики прекрасно понимают, что, произнося свое знаменитое «бу́ди! бу́ди!», духовный провидец оборачивается ко всем людям своим настоящим — светлым ликом.

Размышляя ныне над суждениями Достоевского в его полемике с Ковнером, вдохновляясь его пророчеством о неизбежном братстве русского и еврейского народов, невозможно не задаваться вопросом: реально ли воплощение в действительность его идей в ситуации, сложившейся сейчас в России? Когда с каждым днем крепнет юдофобское движение — своеобразный идеологический союз фашиствующих национал-патриотов и расистов, в который входят не только запакованные в черную униформу со свастикой на рукаве активисты РНЕ, политические деятели вроде генерала Макашова и губернатора Кондратенко с их антисемитскими и антисионистскими эскападами, но и некоторые представители литературы и искусства и даже часть научной, академической элиты. И когда, как во времена Достоевского, полемика вокруг еврейского вопроса привела к расколу русской интеллигенции. Лакмусовая бумажка отношения к евреям в России безошибочно показывает падение нравственного уровня значительной части российского общества. Прежде всего — его интеллектуального слоя.

Конечно, и раньше среди русских интеллигентов всегда находились люди чистой совести. Люди, органически неприемлющие любые проявления антисемитизма. Среди них — Лев Толстой, Лесков, Горький и Короленко, Бердяев и В. Соловьев… Их всегда было немного. Но именно они спасали честь и достоинство русской интеллигенции.

Однако сейчас речь идет не только о роли и значении идей Достоевского в современном российском обществе. Речь идет о неизмеримо большем: решение еврейского вопроса в России оказалось тесно сопряжено с ее судьбой, с русской культурой.

Их будущее во многом зависит от русской интеллигенции. От выбора, который она сделает в борьбе, развернувшейся в нашей стране в конце XX столетия вокруг важнейших проблем общественного развития. В том числе и от того, найдет ли она в себе силы возвыситься до призыва Достоевского к тесному единению «племен» многонациональной России, к братскому союзу русского и еврейского народов? Этот выбор определит не только участь евреев, оставшихся в России. Во многом он определит судьбу и самой русской интеллигенции, ее роль в истории своего народа.

Вопросы, которые когда-то Ковнер — герой книги

Л. Гроссмана — с болью и горечью задавал Достоевскому, звучат и в наши дни. Они все еще остаются без ответа.

Исполнится ли пророчество, которое великий русский писатель с такой надеждой возвестил в своей полемике с безвестным бутырским заключенным?

Бу́ди ли?

Профессор С. Гуревич.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В начале 1877 г. Достоевский среди десятков писем, ежедневно получаемых им от читателей «Дневника писателя», получил одно, сильно поразившее его. Оно шло из московской тюрьмы и было подписано незначащей еврейской фамилией.

«Я редко читал что-нибудь умнее Вашего письма ко мне, — отвечал вскоре писатель своему безвестному корреспонденту, — письмо ваше увлекательно хорошо»… И затем на протяжении всего своего ответа Достоевский не перестает отмечать выдающийся ум своего заочного собеседника и выражать свое глубокое уважение к нему. А главное — все его ответное письмо выдержано в том тоне высшей искренности и абсолютной прямоты, который возможен лишь с равным по уму и психологический зоркости. При этом между строк сквозит явное сочувствие к судьбе и личности незнакомого собеседника. «Верьте полной искренности, с которой жму протянутую Вами мне руку», — заключает Достоевский свой ответ безвестному арестанту.

Некоторые заявления здесь невольно поражают. Начитаннейший в мировой литературе писатель, корреспондент знаменитых поэтов и мыслителей, решается заявить, что «редко читал что-нибудь умнее» этой тюремной исповеди какого-то неведомого преступника. Он не ограничивается при этом непосредственным ответом ему, но посвящает поразившему его письму целую главу своего «Дневника писателя», где в обширных отрывках цитирует дошедший до него замечательный человеческий документ и подробнейшим образом отвечает на поставленные ему вопросы и сделанные укоры. Великий писатель считает нужным дать всенародно ответ и морально оправдаться перед бутырским узником, заклейменным обществом, судом и печатью.

Это исключительное внимание Достоевского к одному из своих читателей сразу выделяет его из огромной массы таких же безвестных корреспондентов писателя. Острый интерес к нему автора «Бесов» обязывает и нас пристально всмотреться в забытую фигуру одного странного мечтателя гетто и по возможности ответить на вопрос: кто же автор этого умнейшего письма, столь поразившего Достоевского? О чем он писал знаменитому романисту и почему вообще решил обратиться к нему?

Ответ на все эти вопросы возможен. Корреспондент Достоевского поддается некоторому историческому освещению. Это был выдающийся самородок, ярко одаренная натура с острым

и подвижным умом неутомимого искателя, которому выпал на долю тяжкий крест: преодолеть косные ограды многовекового национального сознания, чтоб вырваться на широкие просторы общечеловеческой мысли.

За долгую жизнь он узнал многое: гнет и мрачность нищенствующих кварталов Литвы в эпоху Николая I, изучение Талмуда в ветхих молельнях, жалкую и одуряющую среду «ешиботных бурс» — весь этот фантастический и мучительный уклад, поглотивший целиком его ранние годы.

Полоса безотрадного детства сменяется первыми проблесками отроческого сознания. Наступает сладостная пора тайных приобщений к запретным «берлинским» книгам и жадного знакомства с исканиями человеческой мысли за пределами замкнутого круга талмудической образованности.

Открывается затем возбужденная эпоха его знакомства с русской литературой и пламенного увлечения бурным периодом культурных переоценок. Это горение современными течениями русской мысли приводит, наконец, юного талмудиста к участию в пропаганде новых идей, к жаркой литературной работе, к высокой мечте стать вождем и преобразователем своего народа. В эту эпоху, под влиянием боевого радикализма шестидесятых годов, он вырабатывает свое миросозерцание, сохраняющее навсегда следы его социалистических увлечений — вражды к национализму и глубокого сочувствия к мировым заданиям освобождения всех гонимых и угнетаемых. Таково восхождение этой мысли и совести.

Затем наступает кризис. Рискованная и ложная попытка пойти против условностей окружающего общества и его правового строя с целью углубить свой умственный подвиг и выявить до конца свое призвание терпит неизбежное крушение: суд, лишение прав, тюрьма, кандалы, этап и Сибирь — вот самый мрачный и самый заостренный момент этой судьбы.

Но трагедия неожиданно озаряется и доносит до нас свой отзвук: возникает странная, смелая, обнаженная и вызывающая переписка с Достоевским, который шлет в московскую тюрьму проникновенный ответ на полученную исповедь и одновременно посвящает целую главу «Дневника писателя» жаркому самооправданию перед этим неожиданным обвинителем, лишенными прав по суду и осужденным на арестантские роты.

Следуют затем годы нисхождения, замирания, упадка. Скорбный путь по этапу в Сибирь в наручниках, на общей цепи с другими арестантами, темные годы сибирской ссылки, затем придушенная писательская работа под всевозможными инициалами и псевдонимами, скрывающими опозоренное имя,

какие-то новые скитания по глухим местечкам и, наконец, обращение в христианство, которым этот протестант-неудачник словно хочет навсегда отрезать себя от своего прошлого.

Странная, унылая и печальная биография! Она была бы, вероятно, забыта навсегда, если бы на одном из перекрестков этого многострадального пути неожиданно не вырастала перед нами фигура Достоевского; если бы «Преступление и наказание», главы из «Дневника писателя» и сама переписка автора «Бесов» не переплеталась бы таинственными нитями с темной участью этого забытого героя уголовной хроники семидесятых годов.

Эти беседы Достоевского с одним евреем, их заочная встреча и напряженные споры представляют обильный материал для суждений об антисемитизме «великого консерватора», об его сложном отношении к проблеме иудаизма. Они раскрывают при этом всю глубину влияния Достоевского на его современников. Ибо трагический перелом в жизни безвестного еврейского писателя прошел целиком под знаком одного замысла великого русского художника.

Этим предопределилось то преступление, которым была надвое рассечена судьба нашего искателя. Глубоко интеллектуальное, головное, книжное, математически рассчитанное и этически обоснованное, оно не было непосредственным проявлением «злой воли» или внезапного умысла. Можно утверждать, что одна из величайших книг того времени оказала несомненное влияние на рискованный шаг этого непризнанного вождя, и образ Раскольникова стоял перед ним героической и вдохновляющей фигурой, когда он устраивал мысленно судьбу нескольких обойденных. И если судьба Вертера фатально отражалась на его современниках эпидемией самоубийств, образ Раскольникова имел такие же действенные отражения в первом поколении читателей «Преступления и наказания». Один из них, отравленный книгой Достоевского и затем потерпевший крушение в своем опыте, решил обратиться к его автору за высшим и окончательным приговором. Но, ожидая от писателя этого суждения о своем «преступлении», он признает за собой право напомнить Достоевскому об его собственных отступлениях от закона высшей всечеловеческой любви, которую он проповедует на своих страницах.

Эта переписка глубоко волнует драматизмом основных мыслей, поставленных с необычайной остротой и взятых в предельной степени их напряжения. К знаменитому романисту обращается герой скандального процесса, осужденный за подлог и мошенничество. И удивительней всего то, что он как равный говорит с Достоевским и даже считает себя вправе судить его.

Отверженный, осужденный, ошельмованный всеми преступник зовет к ответу великого писателя и творит над ним высший суд во имя абсолютной правды и незыблемой справедливости.

Таков был Авраам-Урия Ковнер, написавший в 60-х гг. несколько боевых книг на древнееврейском языке, глубоко возмутивших его соплеменников и заслуживших ему имя «еврейского Писарева», работавший затем в передовой русской журналистике, прославившийся в 70-х гг. получением 168 тысяч путем обмана двух крупных столичных банков, вступивший из тюрьмы в переписку с Достоевским, затем отбывавший наказание в Сибири и скончавшийся христианином в 1909 г. в Ломже, где он состоял маленьким чиновником на государственной службе. Отсюда он вел в течение нескольких лет оживленную переписку с В. В. Розановым на темы об иудаизме, христианстве и атеистической философии. По примеру Достоевского, Розанов включил в одну из своих книг столь далекие ему по духу страницы своего корреспондента, снабдив их комментариями, возражениями и оценками. Забытый журналист на закате своих дней получил признание русского мыслителя, одинаково чуждого ему по происхождению, политическому направлению и философским заданиям. В эту эпоху воинствующего антисемитизма давно ушедший от еврейства Ковнер решительно вызывает реакционного публициста высказаться на тему о погромах, в духе исповедуемой им христианской этики.[1]

«Я стою полный удивления перед этой странной, удивительной фигурой, которая была и осталась для меня полной загадкой», — пишет один из близко знавших его современников. И действительно, необычен и странен пройденный им путь от талмудических иешиб через журнальную работу, боевую пропаганду новых идей и мечты об освобождении своего народа, к скамье уголовных преступников, затем Сибири, и наконец, контрольной палате в каком-то глухом западном городишке.

Но, отставленный от литературы и оторванный от читателей, старый публицист не вовсе умолк. Свое возмущение неправдой текущего он в преклонные годы не перестает выражать в обширных письмах к писателям и государственным деятелям. Он посылает свои размышления и протесты Льву Толстому, В. Розанову, А. Столыпину, министру юстиции Н. Муравьеву. Он верит, что свободная, жизненная и справедливая мысль должна восторжествовать над временными соображениями политиков и отвлеченными построениями философов. И сила его открытой и стремительной мысли такова, что, несмотря на все его отлучения от печати, она выбивается наружу и доходит до читателя.

Попытаемся проследить прихотливую линию этой жизненной

судьбы, развитие которой постоянно углублялось сложными умственными драмами.

* * *

Несколько слов об источниках и материалах нашей работы. Литературная деятельность Ковнера в ее целом еще совершенно не изучена. Историков еврейской литературы интересуют лишь первые две книги этого автора, написанные на библейском языке и в свое время вызвавшие сильное возбуждение в среде его соплеменников. Для исследователей русского творчества художественные и критические опыты этого забытого журналиста, не оказавшие никакого воздействия на общий ход развития их отечественной словесности, не представляют интереса. Почти полувековая творческая активность впечатлительного писателя с боевым темпераментом и острым ощущением современности предана забвению и обречена на глубокую летаргию в мало известных ежемесячниках и пыльных комплектах старых газет.

Разыскивать произведения Ковнера в этой огромной груде старопечатного материала чрезвычайно затруднительно. Библиографические указания отсутствуют. Список многочисленных псевдонимов Ковнера еще не установлен. Мы знаем, что он подписывал свои произведения различной комбинацией своих инициалов — А.К., А.Г., всевозможными сокращениями своей фамилии вплоть до ее полного усечения в кратком обозначении «— р», наконец, фамилиями «Камнева», «Бородина», быть может, и другими. Журнальные розыскания в подобных условиях становятся почти безрезультатными.

Трудность задачи осложняется полной утратой многих его писаний. Часть литературного наследия Ковнера должна считаться потерянной или во всяком случае не поддающейся быстрым разысканиям и скорому опубликованию. Нашему писателю в этом отношении не везло. Его большой роман «Человек без ярлыка», уже напечатанный, был «безусловно запрещен» комитетом министров в 1872 г. и не вышел в свет. Его повесть «Кто лучше?» и драма «Дружеская услуга», посланные в рукописях к Достоевскому, пошли по редакциям и в конечном счете затерялись. Во время следствия по его делу властями были отобраны две его рукописи — начало повести, найденное в его банковской конторке, и начало его романа «Анонимное письмо». Участь его рассказа «Единственная», посланного В. В. Розанову для «Нового Пути», остается неизвестной. Судьба его тюремного дневника, знакомого нам лишь по нескольким отрывкам,

вошедшим в его письма, так же невыяснена. Наконец, у нас нет никаких сведений об его «Записках» в стиле Казановы, писанных в старости и переданных автором на хранение редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому. Есть также полное основание предполагать, что у вдовы этого неутомимого писателя осталось на руках немало его рукописей и, быть может, черновых писем, до сих пор не увидевших света.

И тем не менее, даже ограниченная область имеющихся у нас материалов свидетельствует о разнообразии затронутых здесь тем, широте интересов Ковнера, обилии метко схваченных жизненных черт, пестроте и выразительности зачерченных обликов. С подлинным писательским инстинктом, неугасимым ни в каких условиях, он подвергал художественной обработке все этапы своего жизненного пути и пытался запечатлеть в образах и драматическом действии различные человеческие сферы, раскрывавшиеся его наблюдениям: мир западных гетто, своеобразные бурсы еврейских подростков, оживленный и бойкий круг столичных финансовых дельцов, российская провинция середины столетия, пореформенный судебный мир, быт московских тюрем и этапных партий — все это нашло отражение в его беллетристических и мемуарных страницах.

Но в качественном отношении этот материал распадается на две категории. Ковнер, как критик и фельетонист, не представляет значительного интереса для современного читателя. Но это был несомненный мастер рассказывать свою собственную жизнь и излагать свои непосредственные впечатления, раздумья и мечтания. Вот почему он чрезвычайно интересен в мемуарах, письмах и дневниках. Жанр личных записок — безразлично, в эпистолярной или мемуарной форме — ему необыкновенно удавался. Его «Записки еврея» дают яркую и сочную картину нравов и типов старолитовского мира, в его «Тюремных воспоминаниях» разворачиваются с поразительной жизненностью пасмурные картины тюремного и этапного быта. Даже беллетристика его — в общем весьма субъективная — приобретает остроту и выпуклость на явно автобиографических страницах. Письма его восхищали таких ценителей, как Достоевский и Розанов. Первый, как мы видели, признал одно из писем Ковнера исключительно умным и увлекательно прекрасным. «Слог ваших писем прелестен», — писал ему гораздо позже Розанов, считая для себя весьма ценными и поучительными эти послания безвестного литератора.

И действительно, ряд автобиографических страниц Ковнера представляет замечательный человеческий документ. Настоящий беглый психографический опыт стремится возродить для

читателей его забытые признания, раздумья, запросы или укоры, записанные нередко свежими и проникновенными словами. Вот почему в предлагаемой истории его душевных скитальчеств, мы широко предоставляем ему слово для непосредственного рассказа о его судьбе. Несмотря на возможный упрек в обилии цитат и сырых материалов в этой книге, мы не считали возможным излагать или описывать взволнованные страницы этой фрагментарной исповеди, растянувшейся почти на полстолетия. Всюду, где голос Ковнера звучит в его писаниях особенно напряженно, чисто и глубоко мы останавливали свое изложение, чтобы предоставить ему самому исповедываться перед читателем. Для воссоздания этой странной жизненной судьбы мы пользовались прежде всего неизданными письмами Ковнера к Достоевскому и Розанову,[2] его «Записками еврея», «Тюремными воспоминаниями», «Хождением по мытарствам», его трактатом «Почему я не верю?», целым рядом его критических и публицистических статей, отрывками из его дневника и, наконец, материалами его процесса и его собственным показанием на суде.

Наша книга — не биография Ковнера и не анализ его литературной деятельности, это только история его внутреннего роста, установка главных этапов личной драмы одного выдающегося самородка, надломленного безотрадными условиями своих ранних лет и потерпевшего затем в разгаре творческих планов и реформаторских заданий великую катастрофу крушения всех своих замыслов.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
В ЗАПАДНЫХ ГЕТТО

«Родился я в многочисленной нищей еврейской семье, где люди проклинали друг друга за кусок хлеба…»

Из письма Ковнера к Достоевскому.

I

Столетие назад старая Вильна еще не утратила облика средневекового города. На каждом шагу здесь можно было встретить живописные и полуфантастические черты отошедших эпох. Среди невысоких домов, вдоль узких незамощенных улиц декорацией иного времени вырезались профили костелов и синагог в кругу крепостных ворот, башен и стен древней цитадели. Предания семи веков накопляли свои пасмурные воспоминания вокруг этих бойниц, куполов и площадей — свидетелей буйных столкновений бесчисленных вооруженных отрядов, столетиями бороздивших большую литовскую дорогу из Европы в славянский мир. История города хранила свидетельства отважных набегов великих завоевателей от тевтонских рыцарей Конрада Валленрода до разноплеменных армий Наполеона. Легенды о битвах народов и празднествах победителей устным орнаментом оживляли эти темные плиты и неприветливые каменные проходы. В окрестностях помнили, что полуразрушенный дворец Сапеги был устроен блистательным канцлером из развалин Валгаллы литовских богов. Кратковременное пребывание в городе французского императора казалось впечатлением вчерашнего дня. В народе еще живы были воспоминания о виленских войтах, бурмистрах и цеховых мастерах. Цепкая русификация еще не успела вытравить характерную физиономию древней столицы Ягеллонов, и вся котловина между двух рек была полна тех архитектурных сокровищ, которые тщательно разыскиваются в наши дни такими тонкими артистами старинного зодчества, как Добужинский или Лукомский.

Вильна уже слыла в то время культурным центром еврейства. С конца XVIII в. здесь стали открываться типографии с библейскими шрифтами, отвечавшие жизненным потребностям

местной литературной среды и в свою очередь собиравшие сюда со всего края поэтов, философов и ученых. Старинная библиотека при древнейшей синагоге, многочисленные школы и талмудические академии, оживленная книгоиздательская работа и первые опыты периодических органов — все это по праву сообщало городу наименование Литовского Иерусалима.

Но внешняя летопись еврейства на родине Мицкевича ничем не отличалась от общей истории Израиля. Несмотря на правительственные универсалы, подчас удерживавшие буйное население от «тумультов» против евреев, история города хранила бесчисленные свидетельства о всевозможных насилиях, нападениях, поджогах и разгромах, от которых не были свободны ни кладбища, ни школы. Массовые изгнания, беспощадные заключения в гетто, истребительные налеты Хмельничины, наконец, жестокие поветрия и голодные годины — все это понемногу истощило виленское еврейство, которое уже в начале XVIII столетия являло печальную картину неизбывной нищеты и унизительной подчиненности.

Но несмотря на тягостные внешние условия, умственная деятельность здесь ни на мгновение не замирала. В Вильне можно было найти всевозможные оттенки еврейской мысли: от фанатических исповеданий старины до отважнейших освободительных исканий. Знаменитый раввин по прозванию Гаон представлял здесь национальную традицию и считался столпом старинной доктрины. Под берлинским влиянием уже к концу XVIII в. здесь начинает сказываться дух просвещения, стремящийся высвободить еврейское сознание из дряхлеющей раввинской схоластики. Но наряду с рационалистами оживленно действуют и поклонники Каббалы, и последователи вольнодумного Бешта, еретически настроенные хассиды. В начале столетия здесь славился доктор Падуанского университета, лично знавший знаменитого поэта и филолога — итальянского еврея Луцатто. Все направления иудаизма имели здесь своих представителей, все оттенки еврейской мысли многокрасочно отражались в печати и устных прениях, создавая особую атмосферу философских диспутов, идейных борений, отважных новаторских дерзаний и страстных возмущений в стане ревнителей канонического предания.

В этом городе с профилем средневекового бурга, с легендарной стариной и кипучей умственной жизнью, с поразительным возбуждением ищущей мысли вокруг острых проблем столкновения библейских заветов с новейшей европейской культурой, родился в 1842 году герой предстоящей повести — Авраам-Урия Ковнер.

II

Он родился и жил в нищете. Первое воспоминание его связано с пустячным обстоятельством, которое было признано в обстановке душной нужды семейным несчастьем. В нескольких словах он запечатлел впоследствии эту домашнюю катастрофу, ставшую его первым жизненным впечатлением.

«Отец мой случайно потерял на улице четыре рубля. Событие это, по-видимому, причинило большое горе всему нашему семейству. Отец, помню, оплакивал потерю горючими слезами и несколько дней подряд все ходил на поиски, надеясь как-нибудь найти деньги, а мать была страшно угрюма и зла; другие же члены семьи все это время молчали и дрожали в разных углах».

Нищета ожесточала. Мелкие и комические неурядицы хозяйственного быта принимали подчас трагический характер и разрастались в безобразные сцены. «У нас в доме никогда не было ни молока, ни коровьего масла, мясная пища употреблялась лишь по субботам и праздникам, и то в самом ничтожном количестве, фунта два-три на все семейство на три субботние „пиршества“, причем для жарения употреблялось гусиное сало. И вот однажды домашний кот, пронюхав, где находится лакомое блюдо, ухитрился стащить оставшееся в маленьком горшке гусиное сало. Отец был так поражен этим „несчастием“, что решил убить похитителя. Заметив кота, он бросил его в мешок и стал колотить мешком об стену. Кот метался в мешке и отчаянно ревел, а отец еще больше свирепел, продолжая бить кота. Но наконец он не выдержал раздирающего душу крика несчастного животного и бросил мешок об пол. Кот, как бешеный, вырвался из мешка и удрал, не догадавшись, конечно, за что был наказан… Сознаюсь, что эта дикая расправа была ужасною жестокостью со стороны отца; но, право, трудно судить, кто больше был достоин сожаления: несчастный ли кот или столь же несчастный отец, обыкновенно мягкий и добрый, пришедший в такую ярость из-за полуфунта гусиного сала».

Другой эпизод еще тяжелее. Дети рождались почти беспрерывно. Несмотря на нужду, все выживали и росли. Нищета увеличивалась. «Бедный отец точно высох, а мать, измученная заботами о куче детей, становилась все злее и злее. В это время на свет Божий явился новый член семейства, который против обыкновения через три дня умер. Отец, по-видимому, чрезвычайно обрадовался этому обстоятельству, хотя громко не выражал своей радости, мать же, несмотря на обилие оставшегося потомства, была очень огорчена и даже искренно всплакнула о желанной в глубине души потере.

Надо было хлопотать о погребении младенца. Отец отправился в погребальное общество и через несколько часов явился в сопровождении двух членов последнего, которые должны были унести покойничка. Но, войдя в комнату, отец вдруг услышал плач младенца.

— Ожил! — воскликнул он, схватившись за голову и побледнев, как полотно.

И на его лице отпечаталось такое страшное горе, что я всю жизнь не мог забыть этого выражения отчаяния.

Между тем младенец вовсе не ожил, и дело вышло так. Видя страдания матушки от обилия молока в груди, которое необходимо было отцедить, жившая у нас бабушка побежала куда-то достать для этой цели щенка, что ей и удалось. Щенок как раз в момент возвращения отца из погребального общества завизжал, а отец принял писк щенка за плач ожившего ребенка…

Нужно себе представить степень нищеты и гнета главы семейства, если воображаемое оживление родного ребенка могло вызвать в отце такой вопль отчаяния!»

Но поразительнее всего, что в этой мрачной обстановке неизбывной нужды благоговейно оберегались духовные традиции фамилии и выше всего ценился умственный труд — изучение Талмуда и Библии. Среди предков этого загнанного и замученного главы семейства было много ученых раввинов. Его отец, сохранившийся в памяти внука «высокий статный старик, походивший на патриарха», только и знал, что Талмуд и его комментаторов. Оба сына его последовали этому обычаю рода. Бедный виленский еврей, доходивший до умоисступления от пропажи ложки масла, знал в совершенстве и почти наизусть всю Библию. Никакого ремесла он никогда не изучал, не имел представления о сельском хозяйстве, и вся деятельность его сводилась к обучению детей, к некоторым домашним работам и, наконец, к выполнению религиозных треб для окрестных евреев (когда семья временно жила в деревне). Он охотно исполнял обязанности кантора, а в особых случаях даже композитора, сочиняя к молитвенным текстам мелодии.

Эту духовную традицию рода с малых лет стремились привить потомству. Будущий корреспондент Достоевского в четыре года уже сидел над Библией, а в шесть лет приступил к изучению Талмуда. Система обучения детей древним текстам противоречила всем принципам здравого смысла и педагогики. «Учение вообще начиналось с бестолкового повторения за учителем первых стихов Пятикнижия Моисея („Бытия“), которые слово за словом вдалбливались в память детей без всякого осмысленного их понимания. Шестилетние мальчики должны

были запоминать во всех подробностях ученые трактаты Талмуда о способе приобретения законных жен и развода с ними…»

Несмотря на такое бестолковое преподавание, художественные страницы Библии увлекали детское воображение, и поэтические легенды древности пробуждали в нем первые творческие тревоги.

«Наши педагоги считали бы безумием, — писал впоследствии Ковнер, — если бы кто-либо посоветовал им преподавать мальчикам 5–6 лет греческий язык прямо с чтения, положим, Платонова „Федона“, без всякого предварительного ознакомления с основными правилами греческой грамматики. Между тем результатом бестолкового преподавания древнееврейского языка, не в пример труднейшего, чем греческий, было то, что я и мои сверстники довольно быстро усвоили себе этот язык, а я, будучи семилетним мальчиком, сочинял уже на древнееврейском языке большую поэму в стихах на тему библейского рассказа о приключениях персидской царицы Эсфири и великого визиря Гамана».

Таковы были впечатления ранних лет. В заброшенных и тесных кварталах старой Вильны, в затхлой нищете скученных закоулков, среди всеобщей запуганности и замученности в сознании подростка мерцали магические образы персидских цариц, египетских фараонов, странствующих пастухов, рабынь, воинов и судей. Безотрадность окружающего быта озарялась пестрыми отсветами восточных сказаний, будивших в ранней фантазии маленького талмудиста первые творческие тревоги.

III

Но вскоре обучение приняло более суровые формы. Восьмилетним мальчиком Авраам-Урия Ковнер, не зная ни слова по-русски, поступает в Виленское раввинское училище, откуда, впрочем, вскоре выходит по болезни и попадает в одну из лучших еврейских семинарий в маленьком городке Минской губернии Мире.

Своеобразны были условия быта, педагогической системы и общей жизни в этой знаменитой иешибе. Все учебное заведение, в котором находилось около двухсот учеников, помещалось в одной комнате, служившей в то же время молитвенным домом для многочисленных прихожан. Многие ученики, дети беднейших евреев, не имея своего угла, жили и спали в этой школе-молельне. Большинство страдало чесоткой и другими прилипчивыми болезнями.

Способ преподавания Талмуда восходил, вероятно, к далеким средневековым традициям. Несмотря на разные возрасты учеников — от 10 до 20 лет, на различные способности и подготовку, для всех назначался один урок по чтению и толкованию определенного трактата Талмуда. Но большинство воспитанников не слушало раввина. «Главная обязанность учеников состояла в зубрении в течение 12 часов в сутки того или другого трактата Талмуда, под наблюдением преподавателя, который постоянно присутствовал в помещении школы и зорко следил за учениками. Обыкновенно один фолиант Талмуда выдавался двум ученикам, которые назывались „товарищами“ и которые обязаны были в течение всего семестра сидеть рядом, долбить вслух и нараспев данный им трактат, хотя бы они ничего в нем не понимали… Все мы, ученики, верили, что путем горячих молитв и продолжительных постов можно вымолить у Бога „просветление“ головы, после чего вся премудрость Талмуда и его комментаторов легко, без всякого труда, откроется просветленному уму просящего». Двухсуточные посты, ночные одиночные бдения в синагогах с молитвами и рыданиями, труднейшие виды подвижничеств («310 окунаний») — все приносилось в жертву страстной мечте стать великим ученым и глубоким знатоком Талмуда. Один из таких опытов чуть не стоил жизни нашему неофиту.

Пробыв около года в Мирской иешибе и подвергнувшись здесь несправедливому и позорящему наказанию (главный раввин в присутствии прихожан без всяких вопросов и объяснений подверг маленького семинариста жестокому битью по щекам) — Авраам Ковнер, глубоко оскорбленный незаслуженной публичной карой, покинул негостеприимную школу и переселился в соседнее с Миром местечко Столбцы. Слабые надежды на какого-то родственника и на общественную помощь побудили его потратить последний злот (15 коп.) на этот рискованный переезд. Двенадцатилетний мальчик становится свободным странствующим студентом. Глубоко своеобразен этот тип старого еврейского мира. Юные богословы, скитающиеся по знаменитым талмудическим школам, изощряющие ум в тончайшей казуистике древних текстов, переправлялись пешком или на тряских подводах из местечка в местечко, чтоб услышать знаменитого комментатора Библии. Худо одетые, полуголодные, облитые обильными дождями Западного края, вечно подверженные насмешкам, толчкам и издевательствам разноплеменного населения убогих и бесправных губерний, но неутомимые в своем стремлении приобщиться к знанию, таинственно заключенному в тяжелый фолиант с квадратными буквами — они поистине

достойны пристального внимания исследователей и художников слова.

Бохурами назывались бедные еврейские подростки, посвящавшие себя изучению Талмуда. Молитвенный дом местечка служил им даровой гостиницей. Служка молельни подыскивал новому пришельцу кормильцев, т. е. семь состоятельных обывателей, согласных раз в неделю принять мальчика к своему столу. Так, подобно птице небесной, оторванный от семьи, без всяких средств, часто еще полуребенок, юный кандидат в талмудисты жил и учился на чужбине. Ценой периодического нахлебничества в нескольких богатых семьях он покупал право учиться и развиваться в строго намеченных пределах.

Эти трудные, почти унизительные Lehrjahre[3] становятся неизбежно для ученика раввинов и Wanderjahre[4] — эпохой скитаний по городам и местечкам западных губерний. Вильно, Мир, Столбцы, Ковно, заштатный город Мерец на Немане, местечко Воложин, снова Вильно — все это промелькнуло в ранние годы учения виленского бохура как единая, однообразная школа, разбросанная по нескольким городкам. Он переправлялся из местечка в местечко, как переходят из класса в класс, продолжая все тот же курс по неизменной предустановленной программе. Менялись молельня и раввин, раскрывался новый трактат Талмуда, но предмет и система обучения оставались те же. «Жизнь моя в городе Мереце ничем не отличалась от жизни в Ковне и других городах: постоянное пребывание в стенах молитвенного дома, питание у разных обывателей по одному дню в неделю, занятие Талмудом днем, сон на голых досках ночью и отсутствие всякого контроля над собой».

IV

Но в отроческие годы «священные книги» уже не удовлетворяли ищущего сознания. Вспоминаются слова современного поэта:

> Был у деда косматый фолиант обветшалый,
> Меж страницами — волос бороды серебристой,
> Пук оборванных нитей от молитвенной кисти,
> И меж буквами пятна, пятна сала и воску —
> И душа одиноко в тех безжизненных буквах
> Трепетала и билась…[5]

Таково было настроение пятнадцатилетнего воспитанника знаменитых еврейских семинарий середины столетия. Он тосковал в тесных границах раввинского учения и рвался на просторы иного знания.

Впоследствии, вступая на литературное поприще, этот выученик талмудистов посвятит один из своих ранних журнальных опытов описанию своей первой школы. Из одной его забытой статьи мы узнаем немало любопытных сведений о происхождении ешиботов, их задачах и быте. Он сообщает русскому читателю, что эти еврейские школы восходят к первым векам христианства, когда молодые люди стекались со всех концов Палестины к великим раввинам того времени с целью изучать теологию в обширном смысле этого слова. В средние века ешиботы были рассадниками еврейской науки и общих познаний в Испании, Египте и разных местах Палестины. В России же они были до начала XIX столетия коллегиями специального изучения Талмуда и его первоклассных комментаторов. «В настоящее же время, — пишет Ковнер в конце 60-х гг., — ешиботы в России приняли совсем другой характер. Правда, в них и теперь преподается специально Талмуд с его комментариями, но способ преподавания, образ жизни ешиботников и источники их существования до такой степени обезображены и ненормальны, что в них решительно нельзя узнать первоначальной цели, для которой они были назначены».

Изображая с большой живостью нелепую систему преподавания в ешиботах, где все учащиеся отвечают сразу, поднимая невообразимый и бессмысленный крик, Ковнер объясняет и причины такого странного метода: «Это все происходит потому, что евреи не обучаются Талмуду с целью изучения и понимания многочисленных предметов, разбросанных в нем и имеющих высокий научный интерес, — а для самого процесса обучения, который сам по себе считается богоугодным делом и, по мнению некоторых ученых авторитетов, предпочитается даже молитве. Здесь не место исследовать причины этого странного взгляда и доказывать всю несостоятельность его; остается только сказать, что он составляет одну из главных причин всех печальных результатов бессмысленного воспитания еврейского юношества вообще и ешиботников в особенности».

Следуют жуткие картины печального житейского быта этой убогой молодежи, ютящейся по тесным молитвенным домам в мрачнейших условиях невообразимой грязи, скученности, нищеты, развивающихся болезней и пороков. Унизительные условия общественного питания, всецело основанного на началах

благотворительности, дополняют этот безотрадный жизненный уклад.

Описывая ешибот в местечке Воложине, который считался главным и лучшим в России, Ковнер останавливается на общих вопросах смысла и целесообразности талмудического воспитания.

«Главная задача ешибота состояла в изучении Талмуда, составлявшем первую и конечную цель жизни еврея… Явление это объясняется многочисленными гонениями, которым евреи подвергались в продолжение многих веков, в особенности во время реформации. Жизнь их до того изобиловала страданиями, что она стала им в тягость; поэтому они превратились в аскетов, в живых мертвецов, и стали искать спасения и утешения в изучении Талмуда и религиозных книг, которые обещают им за это занятие всевозможные наслаждения по крайней мере в лучшем мире. Это настроение духа у евреев, несколько ослабевшее во время царствования Александра I, возобновилось с большею еще силой при наступившем затем новом порядке вещей. Евреи опять взялись за изучение Талмуда и больше еще замкнулись в заколдованный свой круг. Дух аскетизма, преобладающий во всех ешиботах вообще, с особенной силой развивался в стенах воложинского ешибота, потому что туда приезжали люди взрослые, закаленные в бедности и лишениях, у которых материальная сторона жизни не играла никакой роли. Особенной пользы еврейскому народу воложинский ешибот не приносил и, по своему исключительному направлению, не мог приносить; но зато нравственная сторона его, хотя ложно направленная, сохранилась во всей ее чистоте: ученики были люди строжайшей честности, преданные учению со всей искренностью души, и жаль только, что такое рвение, такая искренность и такие блистательные способности тратились на предметы, не имеющие никакой практической важности. Если бы этой силе давали другое направление, она, без всякого сомнения, принесла бы обильные плоды, и русские евреи не стояли бы на такой низкой ступени сравнительно с их единоверцами в других европейских странах…»

Познав на собственном опыте всю тяжесть этой отжившей педагогической системы и рано оценив ее жизненную стоимость, Авраам-Урия начинает свои скитания по городам и местечкам западного края, пользуясь каждым случаем для приобщения к иной образованности.

V

Безотрадность ранних впечатлений от семейной обстановки мало рассеивалась в этих вольных скитаниях по скученным очагам еврейской бедноты. «Каким грязным и убогим казался мне тогда этот уездный город! — вспоминает через сорок лет престарелый мемуарист свое прибытие в Пинск. — На улицах кипело, как в муравейнике. Кроме евреев, казалось, никого в городе не было. Все в длинных, рваных, засаленных балахонах, с длинными, болтающимися пейсами, в каких-то особенных, еврейского покроя, картузах. Лица у всех измученные, испуганные, отталкивающие; ни на ком не видно и тени улыбки; все куда-то спешат, бегут; еврейский жаргон нараспев режет уши. В особенности раздражает визг евреек-торговок, старых, грязных, в лохмотьях, но в париках и чепцах. Все это возбуждает отвращение и в то же время вызывает невольную жалость к этой нищей массе, цепляющейся за жизнь, работающей и рыскающей с утра до ночи, чтобы насытить свои голодные желудки и покрыть свою голытьбу. И в который уже раз возникал у меня вопрос: чем же живет эта многомиллионная толпа, как сводит концы с концами, какие у нее цели и стремления?»

На неприглядном фоне этих местечек творились жестокие дела. В то время была в ходу «торговая казнь», т. е. публичное наказание плетьми и клеймение преступника. На конной площади воздвигался эшафот; съезжалась в колясках высшая аристократия города; подкатывала под сильнейшим конвоем позорная колесница; преступника с черной доской на груди, оповещающей о его преступлении, взводили на эшафот и привязывали к позорному столбу; стряпчий распечатывал длинный узкий ящичек и извлекал из него трехвостую плеть; читался приговор; преступника раздевали, обнажали с пояса до ног и крепко привязывали к откосной скамейке. По команде начиналась беспощадная яростная экзекуция под оглушительную барабанную дробь, бессильную все же покрыть пронзительные крики наказуемого.

Впечатлительному подростку нелегко было выдержать это зрелище. «Я хотел совсем удалиться, но, окруженный со всех сторон сплошною массою народа, должен был оставаться до конца, и тут только я заметил, как изящные и элегантные панни *стояли* в своих колясках, чтобы лучше видеть истязание человека. Мне и тогда казалось возмутительным и непонятным, как эти нежные панни, которые, вероятно, в обморок падали от случайного ущемления лапки любимой собачки, которые, конечно, никогда не позволили ни одному постороннему мужчине снять в их присутствии сюртук, здесь публично смотрели с видимым удовольствием на обнаженного

преступника, спину которого палач превращал в кровавый бифштекс…» По окончании томительно-долгой экзекуции палач приступал к еще более бесчеловечному обряду клеймения, т. е. удара по лицу преступника острой печатью с вырезными буквами, кровавые следы которых замазывались каким-то несмываемым составом. Все это происходило не в XIII столетии, а в той России, где уже смолк голос Гоголя и призывно звучали сильные голоса «молодой литературы» — Тургенева, Льва Толстого, Достоевского, Некрасова. [Несколько ранее в Виленском раввинском училище Ковнер присутствовал при жестоком наказании розгами одного провинившегося подростка. Четыре сторожа положили его, полураздетого, на снег и громадными пучками розог исполосовали его тело до крови. Директор училища (они назначались не из евреев и пользовались всеми правами государственной службы) не поддался ни на какие мольбы наказанного ученика, в ужасе обещавшего даже выйти из училища, и лично до конца распоряжался на экзекуции. Все эти детские впечатления глубоко врезались в память наблюдательного мальчика. — *прим. авт.*]

Иногда на улицах города появлялись страшные «ловцы». Частые наборы в эпоху Крымской войны наводили ужас на беднейших евреев, которые в своей национальной среде несли на себе всю тяжесть рекрутчины. Всесильный в то время кагал, обязанный доставлять требуемый комплект солдат, избавлял своих членов и всех состоятельных лиц от страшной «николаевской» службы, и все ее бремя ложилось целиком на беззащитные семейства. Предназначенные к набору прятались в подземелья, бежали в леса, изыскивали тысячи способов, чтоб укрыться от неизбежных преследований. И вот для поимки их была организована специальная шайка «ловцов», устраивавших засады и облавы и наводивших ужас на бедные еврейские кварталы. Это были беспощадные силачи, не поддававшиеся на подкуп, не ведавшие жалости и отвечавшие жестоким избиением на всякую попытку сопротивления или бегства. Сцены подобных поимок еврейских юношей дополняли безотрадные житейские впечатления западного гетто 50-х гг.

VI

Но в этих густых сумерках гнетущего быта были свои редкие просветы. Художественная натура подрастающего Авраама-Урии прорывалась сквозь толщи талмудической учености и умела находить в окружающем какие-то отзвуки своей тоски по радости,

красоте и живой жизни.

Он любил музыку и, к счастью, его религия не только не запрещала ему наслаждаться ею, но содействовала развитию этих вкусов. Еще совсем ребенком он исполнял вдвоем с братишкой молитвенные композиции своего отца на мотивы хоралов Судного дня. Впоследствии в глухом местечке, где он изучал Талмуд на хлебах у сердобольных соплеменников, он услыхал в синагоге молодого кантора, обладавшего замечательным тенором; музыкально образованный, он умел приспособлять к молитвенным текстам арии Мейерберовских опер. И юный талмудист, прослушав однажды в маленькой заштатной синагоге мотивы парижского композитора, не пропускал с тех пор ни одного богослужения с участием этого выдающегося певца.

Впоследствии, в Вильне, эта страсть к богослужебной музыке укрепилась. В главной виленской синагоге появился знаменитый ломжинский кантор, чаровавший прихожан бесподобным голосом и оперными мелодиями. В праздник победы Маккавеев, когда в стенах синагоги допускается, в виде единственного исключения, инструментальная музыка, сладкоголосый кантор с небольшим хором исполнял под аккомпанемент скрипок, флейт и контрабасов арии Мейербера и Галеви на слова молитвенных текстов. Это было в сущности единственное приобщение темной провинциальной паствы к европейскому искусству.

Некоторые художественные впечатления создавались и странствующими проповедниками. Сложные приемы их красноречия имели много общего с театральным искусством и создавали подчас чисто сценические эффекты.

«…Есть проповедники, глубокие знатоки Талмуда, „острые умы“, которые, по оригинальному выражению евреев, способны сводить стену со стеной. Такой проповедник обыкновенно начнет с какого-нибудь библейского текста и загромоздит его множеством вопросов, затем перейдет к другому тексту, который, казалось, никакого отношения к первому не имеет, и также облепит его разными вопросами, доказывая, что в нем нет ни логики, ни здравого смысла. После этого он останавливается на третьем тексте, в котором найдет массу противоречий и недоразумений, и т. д. Но вдруг, ссылаясь на какое-то изречение Талмуда, он выскажет какой-то рогатый силлогизм, и смотришь, после некоторого хитросплетения ума все тексты оказываются согласными между собою, все противоречия исчезли, все вопросы разъяснены, и изречения Библии и Талмуда воссияли в объяснении проповедника ярче солнца. Сопутствуемый одобрительным шепотом аудитории (рукоплескания в молитвенных домах не приняты), проповедник сходит с амвона, и

все спешат выразить ему благодарность и уважение пожатием руки.

Бывают проповедники, которые до того умеют наэлектризовать своих слушателей, что доводят последних до рыдания и истерики, в особенности женщин, которые впадают при этом в обморочное состояние, хотя девять десятых из них не понимают премудрости проповедника. Эти проповедники отличаются в особенности в дни поста и раскаяния между еврейским Новым годом и Судным днем, когда религиозные евреи убеждены, что их судьба решается самим Иеговой на небесах. Проповедник прибегает обыкновенно к следующему эффекту: он, точно в экстазе, среди проповеди бросается к священному ковчегу, в котором хранится писанное на пергаменте Пятикнижие Моисея, порывисто сдвигает закрывающий его занавес и с рассчитанным пафосом и громким рыданием открывает ковчег. В такой момент всех присутствующих охватывает какой-то священный ужас, поднимается вопль, и все голоса сливаются в общее рыдание. В эту минуту, я уверен (сужу по себе), все слушатели искренно раскаиваются в вольных и невольных грехах, делаются временно нравственно чище, разумеется, только до первого столкновения с окружающей гнетущей жизнью…»

VII

И наконец, наряду с музыкой и проповедью, действовала еще одна притягательная сила, наиболее мощно выводившая из заколдованного круга повседневных и тягостных впечатлений. Это была светская литература, начинавшая в то время проникать сквозь крепкие стены гетто, к ужасу приверженцев старины и предания. Вместе с первыми литературно-политическими газетами на древнееврейском языке стали проникать в Россию и различные брошюрки на всевозможные свободные темы. Стихи, рассказы, романы, биографии, путешествия, общедоступные работы по астрономии, химии или физиологии, наконец, переводные произведения вроде «Парижских тайн» Эжена Сю или «Телемака» Фенелона — все, от естествознания до мифологии, — здесь впервые излагалось на библейском языке. И если приверженцы старины открыли гонение на эти еретические «книжонки», отвлекающие от изучения Талмуда, молодое поколение радостно вырвалось из замкнутых оград национальной философии на просторы общечеловеческих интересов.

К этой литературе страстно припал наш раввинский школяр,

решаясь даже в самой молельне читать под прикрытием священного фолианта «запрещенные книжки». За это увлечение ему приходилось подчас получать побои, но это, конечно, только разжигало в нем страсть к чтению свободной литературы в ущерб штудированию талмудических текстов.

Эти книжки раскрыли новый мир и вселили первую неприязнь к Талмуду. «Ни его юридическое, религиозное и легендарное содержание, ни хитросплетения его многочисленных комментаторов не пленяли мой молодой ум. Чувствовалось в воздухе, да из „запрещенных“ книжек я знал, что где-то дышит и живет целый мир, которому нет дела до решения таких вопросов: можно ли употребить яйцо, снесенное курицей в праздничный день? можно ли употребить мясную посуду, если в нее попала капля молока? и проч. Но этот чужой, заманчивый мир был для меня недоступен, и не знал я выхода из моего гнетущего состояния». Расклеенные по городу афиши будили ту же смутную тоску: где-то существует театр, цирк, маскарад… но где? и как проникнуть туда?

Наконец, в это время — т. е. около 1860 г. — появились и в русских гетто еженедельные газеты на древнееврейском языке; это были издававшаяся в Пруссии и весьма распространенная в местечках западного края «Га'магид», без определенного направления, и более передовая виленская газета «Га'кормель», проводившая программу решительных реформ в еврейском быте и идеологии.

Достигший в то время уже 18-летнего возраста, Авраам-Урия жадно припал к этим первым периодическим изданиям, сообщавшим ему о жизни, деятельности, борьбе всего современного мира — о завоеваниях Гарибальди, о планах Бисмарка, о Пие IX и Наполеоне III. «Я ловил всякий лист газеты, как драгоценность, — рассказывал он впоследствии, — читал с начала до конца с величайшим вниманием и все мечтал тиснуть в какую-нибудь газету статейку…»

Литературные склонности будущего боевого писателя сказались чрезвычайно рано. Мы видели уже, что семилетним мальчиком он сочинял на древнееврейском языке большую поэму о персидской царице Эсфири и великом визире Гамане. В десятилетнем возрасте, впервые познакомившись с «запрещенными книжками», он перешел к стихам на более современные темы и под первым впечатлением еврейской литературы задумал роман. Несколько позже в Ковне он стал подражать признанным еврейским поэтам и накопил несколько тетрадей своих стихотворений, мечтая об их издании отдельной книжкой. Через несколько лет, познав крупнейших поэтов

еврейства и «познакомившись с художественными перлами немецкой и русской поэзии», молодой стихотворец сжег все свои многочисленные опыты. От этого акта сожжения спаслось только одно коротенькое стихотворение, напечатанное в 1861 г. в газете «Га'кормель» и даже переведенное на немецкий язык.

Оставив впоследствии совершенно стихотворческую работу, Ковнер сохранил в своих записках несколько любопытных замечаний о поэтической технике поэтов-гебраиков. Эти беглые заметки о библейском стиховедении не лишены интереса.

«Многие еврейские поэты довели свое искусство писать стихи на древнееврейском языке до необыкновенной степени совершенства. Несмотря на сложность, трудность и архаичность библейского языка, еврейские поэты ухитряются писать на нем философские, лирические, эротические, повествовательные и сатирические стихи, которые у многих отличаются необыкновенной силой, красотою и меткостью. Некоторые поэты до того владеют этим языком, что позволяют себе — и не в ущерб красоте — разные фокусы на нем. Так, не говоря об обязательности для всех стихов одиннадцати слогов в строчке и отсутствия слов, начинающихся двумя согласными буквами, многие стихи бывают в то же время акростихами и, кроме того, сумма букв (известно, что в еврейском алфавите каждая буква имеет свое численное значение) каждой строчки соответствует сумме года по еврейскому летосчислению, в котором стихотворение написано».

В местечке Мереце наш стихотворец постарался сблизиться с жившим там молодым поэтом-*эпикурейцем* (этим именем у евреев обозначался не последователь философии Эпикура, а всякий отступник от строгого режима Талмуда).

Бедному бохуру эти сношения грозили полным подрывом всего его зыбкого социального устройства вплоть до лишения его прав на общественное питание, но он продолжал тайком видеться с поэтом-вольнодумцем и читать запрещенные книжки за городом, в поле, на Немане.

В Ковне ему удалось познакомиться с другим молодым поэтом — Исером-Бером Вольфом, впоследствии приобретшим большую известность в еврейской литературе. Он очаровал своего бедного собрата необыкновенной миловидностью и изяществом, безукоризненным европейским платьем и особенно, конечно, задушевным поэтическим даром. На этого молодого поэта, печатавшего свои произведения в еврейских журналах, безвестный стихотворец Ковенской молельни смотрел с благоговейным восторгом.

Скоро и ему удалось принять участие в периодическом

органе, правда, рукописном. Кружок молодежи привлек его к сотрудничеству в своих тетрадках, проповедовавших передовые идеи обновления застоявшихся национальных нравов и идей. Здесь, среди стихотворений, рассказов, переводов, философских рассуждений, сатир, анекдотов и шарад, начали появляться многочисленные произведения молодого поэта, в котором товарищи единодушно признали «великое еврейское светило, готовое озарить весь мир».

VIII

На восемнадцатом году произошло первое крупное событие в жизни Авраама-Урии. Не спрашивая его согласия, не справляясь с его вкусами и желаниями, его женили на дочери мелкого торговца маслами, необразованной, но скромной и симпатичной девушке, помогавшей своему отцу в торговле. Все участие жениха в устройстве этой свадьбы свелось к просьбе денег у одного грозного и богатого дяди. Сцена эта и сам образ богатого родственника навсегда врезались в сознание бедного племянника.

«Дядя, рабби Мордхе-Лейзер, был старше моего отца лет на десять и пользовался громкой известностью среди виленских евреев…

В то время, как все в Вильне считали его в высшей степени щедрым и великодушным благотворителем, дядя с ближайшими родными был крайне жесток и высокомерен, никогда их у себя не принимал и даже не удостаивал разговорами».

К семье своего брата этот ученый меценат относился не лучше. «Дядя смотрел на отца с презрением и ненавистью только за то, что последний был беден и постоянно нуждался в его помощи. И это — несмотря на то, что отец обучал его детей и внуков».

К этому родственнику пришлось по настоянию семьи обратиться его обрученному племяннику, чтоб завершить дело своей подневольной женитьбы. С трепетом поднялся он в хоромы и, весь дрожа, вошел в кабинет знаменитого филантропа.

«…Увидев меня первый раз в жизни в своих хоромах, он мигом вскочил с кресел, поднялся во весь свой рост и, как разъяренный зверь, бросился мне навстречу и грозно спросил:

— Что тебе?

Со страху я ничего не мог объяснить. Дядя стал гневно бегать по кабинету, грозно посматривая на меня.

— Скажешь, наконец, зачем пожаловал? — прокричал он. Путаясь и бледнея, я кое-как объяснил ему, что вот на днях

должна состояться моя свадьба, а у отца многого еще не хватает».

На это робкое заявление последовал решительный отказ.

«Я от внутренней обиды и черствости дяди заплакал.

— Ну, чего плачешь, противно видеть… — озлился еще больше дядя. — Не женился бы так рано, — прибавил он.

Я не выдержал наконец и почти дерзко высказал ему, что вовсе не желаю жениться и что партия мне не по сердцу, но меня не спрашивают и женят. Не помню уже, как пришлось к слову, но я тут же бросил дяде упрек, что он обходится с моим отцом не по-братски, а всегда почти со злобой.

— Нельзя любить человека, который вечно сидит у тебя на шее, — окрысился дядя, и еще более яростно стал бегать по комнате. Я серьезно опасался, что он меня прибьет и выгонит вон. Я еще пуще заплакал.

— Скажи „ему“, что ему дадут еще 15 рублей, — проговорил он более мягко. — Ну, уходи и больше не приходи, — прибавил он.

Я не заставил себя ждать вторичного приказания и выбежал из кабинета дяди, едва успев поблагодарить его за новое благодеяние».

Свадьба могла состояться. Молодые по тогдашнему обычаю почти не знали друг друга. В виде смелого отклонения от правила были все же устроены смотрины; у родственников выпросили шубу для жениха; встреча двух семей была назначена у замужней сестры невесты.

«И вот в чужой шубе явился я в чужой дом, чтобы посмотреть на совершенно чуждую мне девушку, которая должна была стать моей женою…» Невеста решительно не понравилась жениху. Тем не менее брак состоялся.

Потянулась однообразная, унылая, хотя и сытая жизнь. Жена с раннего утра до поздней ночи находилась в лавке своего отца. Муж целые дни проводил в молитвенном доме, чтоб оправдать доверие тестя и стать знаменитым раввином. Впрочем, «запрещенные книжки» и свободные литературные занятия были по-прежнему его главным делом.

В небольшом кругу сверстников он пользовался благоговейным признанием; в нем видели новую надежду Израиля, будущего всемирно знаменитого мыслителя. Молодой поэт, опьяненный этим успехом в тесном кругу наиболее одаренной и передовой молодежи, вечно движимый творческими устремлениями своей художественной натуры, горел и болел своими замыслами, мечтами, видениями и фантастическими планами великой деятельности и мировой славы. Сладостное головокружение от безудержных полетов юного тщеславия и

первых творческих вдохновений начинало томить в убогой и затхлой обстановке жалко-мещанской устроенности. Безграничные мировые перспективы таинственно раскрывались и неудержимо влекли к себе из тесноты еврейских кварталов старой Вильны. Неясная мечта преображалась в деспотическое стремление, и творческие запросы принимали действенную силу категорических императивов. Необходимо было принять смелое решение, отколоться от косной среды и вырваться из тесных оград старого гетто на великие просторы мировой современности.

В это время старший брат Авраама-Урии, Савелий, попавши из раввинского училища в Одессу, где он получил место еврейского учителя, нашел в себе достаточно энергии, чтоб сдать экзамен латинского языка и поступить на медицинский факультет Киевского университета.

Будучи уже студентом третьего курса, он стал в письмах уговаривать младшего брата подумать о будущем, использовать свои выдающиеся способности на подготовку в университет, оставить жизнь на хлебах у тестя с перспективой стать со временем «меламедом» и как можно скорее бежать из родного угла в Киев. Он обещал брату всяческую помощь и поддержку. [Как видно уже из эпизода этой переписки, первенец семьи Савелий Григорьевич Ковнер отличался благородным характером, умом и выдающимися способностями. Уже в раввинском училище на торжественном празднестве в присутствии всего учебного начальства с попечителем округа во главе он так поразил почетных гостей приветственной речью, что виленский генерал-губернатор Назимов расцеловал мальчика при всей публике. Поступив благодаря собственной энергии и работоспособности на медицинский факультет, он в 1865 г. по окончании курса был оставлен при университете. Будучи студентом, он, несмотря на усиленную работу и необходимость самому изыскивать средства на жизнь и поддерживать брата, успел написать книгу «Спиноза и его философия», выпущенную им только в 1865 г. Долгое время он состоял врачом нежинского лицея имени Безбородко; в 1879 г. он отказался от должности с целью посвятить себя исключительно науке. Начиная с конца 70-х гг. он выпускает ряд работ по истории медицины и сотрудничает в различных еврейских изданиях. Он умер в Киеве в 1896 г. — *прим. авт.*]

Решение было принято. Осуществить его удалось не сразу. Возникли обычные затруднения и осложнения. Необходимо было тайно достать сто рублей на бегство, получить паспорт; кандидат в студенты, приготовившийся к тайному отъезду, неожиданно заболевает сильнейшею корью; в разгаре болезни жена его почти рядом с ним рожает девочку, которую сейчас же отдают

кормилице за город, так что больной отец даже не видит своего ребенка. Наконец, все улаживается. Ковнер решается заложить жемчуг своей тещи, чтоб получить необходимые ему сто рублей на бегство. Проделка удается. [В письме к отцу, в котором открыто сообщал о своем плане поступить в Киевский университет, он указывал, что заложил жемчуг своей тещи, который можно во всякое время выкупить; в семье его жены находились 100 рублей, выданные его отцом при их венчании. — *прим. авт.*] Он отправляется за город, чтоб увидеть в первый раз свою девочку. «При виде ее улыбки во мне пробудилось нечто вроде родительского чувства, но в мои 19 лет все это легко улетучилось».

И вот, окольными путями, чтоб обмануть погоню, всеми способами сообщения, т. е. железной дорогой, лошадьми и водою (по Припяти и Днепру), беглец добрался до Киева. В пути был один только жуткий момент: страшная весенняя гроза, разразившаяся в огромном, густом лесу между Гродно и Пинском и остановившая жалкую тележку, запряженную в одну лошаденку. «Мне казалось, что сам карающий и грозный бог Израиля преследует меня лично за побег от жены и за намерение осквернить европейским просвещением».

Но Киев уже был недалеко. Начиналась новая полоса жизни.

IX

Из первой эпохи своей биографии Ковнер вынес несколько неизгладимых впечатлений. Он навсегда запомнил тягостные и унизительные условия своих ранних лет и до конца сохранил глубокую неприязнь ко многим явлениям староеврейского мира.

Он прежде всего возненавидел систему талмудического воспитания и с первых же своих шагов на поприще русской публицистики выступил решительным противником той исключительно богословской выучки еврейского юношества, которая уже на школьной скамье отрывает его от жгучих жизненных задач современности.

Параллельно с этим идет его борьба с националистическими устремлениями взрастившей его среды. Племенная замкнутость, возведенная в степень высшей добродетели и порождающая в обстановке гонений фантастическое исповедание расового культа, представляется ему таким же духовным закрепощением новых поколений, как и мертвящая раввинская схоластика. Вырвавшись из ограды умственного гетто, Ковнер стремится прежде всего преодолеть в себе еврея и стать «общечеловеком».

И, наконец, мрачная нищета его детских лет, унизительное нахлебничество у состоятельных обывателей в трудные годы учения, тяжкая зависимость от богатого скряги-родственника во всех важных случаях жизни, все это возбуждает в нем острокритическое отношение к существующей системе накопления и распределения материальных благ, допускающих совместное существование под одним кровом двух родных братьев — богатейшего эпикурейца и голодающего нищего.

Все это обращает его искания от проблем еврейства к широким вопросам вненациональной современности, в разрешении которых он — несмотря на ошибки и блуждания — сохранит до конца верный инстинкт ищущей мысли и неуспокоенной совести.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ПИСАРЕВ ЕВРЕЙСТВА

И однажды раскрыл я обветшалую Книгу —
И душа улетела на волю.
И с тех пор она в мире бесприютно блуждает,
Бесприютно блуждает и не знает утехи…

Бялик

По воззрениям он либерал с оттенком радикализма, — Писарев еврейства или «Русское богатство» среди евреев.

Розанов. Предисловие к «Исповеданию неверующего» А. Ковнера.

I

После годов учения открывается пора литературных скитальчеств. В Киеве, мечтая попасть в университет, Ковнер бросается на изучение русской грамоты, иностранных языков, предметов общего образования. Он готовится к аттестату зрелости, попутно сам дает уроки, переводит корифеев современной мысли, жадно читает и сам, наконец, начинает писать для печати. Четыре года, проведенные в Киеве — время горячей работы, страстного приобщения к неведомой культуре, пылкого увлечения вождями новейшей мысли. Из западных авторитетов его кумиры Бокль, Милль, Бюхнер и Молешотт; из русских — знаменитая триада критиков-шестидесятников, в духе и стиле которых он скоро начнет писать свои собственные опыты.

Волна новых идей и увлекательная писательская работа вскоре отвлекают его от первоначального плана. «Классицизм я возненавидел, и потому не поступил в университет», — сообщал он впоследствии Достоевскому. Контраст новой открывающейся ему общечеловеческой культуры и замкнутого ветхого мира, державшего его дотоле в плену, обращает его к вдохновенной мечте о коренном реформаторстве своего народа.

Двадцатилетний юноша приступает к своему подвигу и мечтает разбить своим пером многовековые скрепы традиционного быта, чтоб приобщить всю загнанную нищую массу еврейства к великим благам общечеловеческого знания и культурного европейского быта.

В таком настроении Ковнер пишет свои первые книги. В нем самом, как и вокруг него, все молодо, порывисто, увлекательно, вдохновенно. «Это было в начале шестидесятых годов, когда русская литература и молодежь праздновали медовый месяц прогресса», — писал он с нескрываемой теплотой пятнадцать лет спустя, уже сильно измятый жизнью. Вокруг него — молодая студенческая среда, радостно возбужденная каждой новой книжкой «Современника», перед ним гигантские замыслы, весь он захвачен творческой работой и, наконец, завершая этот приподнятый общий тон существования, взамен насильственного старозаветного брака — первая свободная любовь.

Весной 1866 г. Ковнер, уже переменивший свое библейское имя на европейское *Альберт*, переезжает из Киева в Одессу, чтоб наладить там новую жизнь со своей первой подлинной невестой.

Незадолго перед тем он вернулся к себе на родину, снова прожил некоторое время со своей первой женой, которая родила ему сына, и затем навсегда покинул Вильну, семью, патриархальный быт своих предков с его вековыми преданиями, поверьями, предрассудками и великими ожиданиями.

После киевского четырехлетия открывается такой же срок пребывания в Одессе. Ковнер бросается в журналистику, продолжает заниматься педагогикой, работает над второй своей книгой, которую и выпускает в свет в 1868 г., вызывая новый взрыв возмущения в среде ортодоксального еврейства. Редактор газеты «Гамелиц», которую молодой критик заклеймил в своей книге памфлетическим очерком, открывает против него травлю в печати и обществе. Когда, по настоянию этого мстительного журналиста, двери почти всех еврейских домов закрылись перед Ковнером и один только городской раввин осмелился приютить его в качестве преподавателя в своем доме, оскорбленный редактор потребовал на столбцах своего органа, чтоб глава общины отказал в гостеприимстве еретику и врагу своего народа. С тяжелым сердцем Ковнер покинул Одессу и принял предложение уехать с одним семейством в Сибирь в качестве домашнего учителя. Здесь он пробыл около года в уездном городе Кунгуре, давая уроки по гимназическим предметам и корреспондируя в столичные газеты.

В 1871 г. он переезжает в Петербург. Перед ним раскрывается, наконец, возможность широкой литературной

работы. Он начинает сотрудничать в толстых журналах, эпизодически работает в некоторых газетах, пока, наконец, с конца 1872 г. не становится постоянным фельетонистом одной из самых распространенных газет — «Голоса» Краевского.

Таковы главные факты этого периода его жизни.

II

В нашу задачу не входит изучение литературной деятельности Ковнера или характеристика его писательского облика. Историки новой еврейской литературы уже достаточно осветили его роль и значение в летописях родной словесности.[6] Нам остается проследить эти пути его писательской работы, лишь поскольку в них наметился новый этап его духовных исканий и жизненной судьбы.

Первые две книги Ковнера — «Памфлеты», вышедшие в 1865 г. в Киеве, и «Связка цветов», выпущенная им в 1868 г. в Одессе, произвели в еврейских литературных кругах впечатление разорвавшегося снаряда. На первый взгляд, это небывалое возмущение не вполне понятно.

Критика замкнутого быта старых гетто, отказ от талмудической доктрины, протесты против фанатического национализма раздавались в еврейской среде задолго до Ковнера. Еще в XVIII столетии в кругу знаменитых талмудистов появляются решительные противники устаревших форм общенародной жизни, настоятельно требующие радикальных реформ во внутреннем быту евреев. На самой родине Ковнера — в старой Вильне, в начале столетия была сожжена правоверными членами общины книга мудреца-рационалиста XVIII в. рабби Менаше Илиер-Бен-Пороса, строившего грандиозные планы спасения всего еврейства новейшими достижениями человеческого разума. Но общий дух протеста против всего инородного был здесь так силен, что когда однажды этот ранний приверженец всечеловеческой культуры упомянул в своей синагогальной проповеди имена Аристотеля и Платона, он был публично обруган каким-то фанатиком за произнесение этих нечестивых имен перед священным кивотом.

Но, несмотря на противодействие среды, новая мысль уверенно пробивала себе пути в будущее. Наиболее просвещенные раввины и врачи не переставали знакомить воспитанную на богословии молодежь с новейшими идеями в области естествознания и социальных наук. На рубеже двух столетий появляются труды по анатомии, астрономии,

математике, а в имении одного еврея-мецената устраивается вольная академия с химической лабораторией, гербариями для изучения ботаники, обширной библиотекой научных и светских книг. Скончавшийся в 1797 г. врач Иегуда Гурвич из Вильны, изучавший медицину в Падуе, призывал от национальной замкнутости ко всеобщему братству и от старозаветного предания к иным социальным основам. Как отважны для члена староеврейской общины XVIII в. такие печатные утверждения: «Для усиления взаимной ненависти люди выдумали бесчисленные религии, повелевающие из-за какого-нибудь обычая или обряда идти войной и разрушать государства и народы… О, если б люди сошлись на религии братства и любви!..»

Наконец, в первой половине XIX в. эти семена, брошенные смелыми вольтерианцами гетто, дают ростки. Развивается сложный идейно-общественный процесс, как бы раскалывающий еврейство на два стана. Тяга к европеизации отсталого жизненного уклада проводит резкую черту между приверженцами «просвещения» и ревнителями старины. Ко времени первых выступлений Ковнера «просветители» уже успели достигнуть широкого признания, и завоевать прочные позиции в среде передового еврейства.

Первые книги Ковнера, вызвавшие такой небывалый взрыв негодования, в известном смысле продолжали уже почти столетнюю традицию. Подчеркнутая пропаганда естествознания в противовес богословию была свойственна и вольнодумным ученым предшествующего столетия. Ковнер обращался, разумеется, к новейшим трудам в этой области и брался за популяризацию и даже за переводы современных физиологов.

В своих самостоятельных этюдах он в духе господствующих течений русской критики отвергает религиозно-национальные основы еврейского быта во имя реальных ценностей, жизненных потребностей и жгучих запросов социальной современности.

III

В конце 60-х гг. Ковнер писал молодому еврейскому критику А. И. Паперне по поводу их несхожих журнальных путей и глубокого различия их писательских темпераментов:

«…Вы зарекомендовали себя последователем старого Белинского, и недаром один из Ваших поклонников прозвал Вас „еврейским Белинским“. Подобно Белинскому, Вы свято верите в догму „искусство для искусства“, и Вы такой же, как он, крайний идеалист и оптимист. Подобно Белинскому, Вы приходите в

экстаз от любого изящного стихотворения — я же готов, *как Писарев,* отдать тысячи стихов… за одну самую обыкновенную, но полезную статью, хотя бы об удобрении полей. Вот в чем коренная разница между нами. Вы поклонник изящного и возвышенного, я же обыденного и полезного».

Молодой критик открыто называет здесь литературный образец, послуживший ему для выработки его направления и самой формы его статей. Выступив в печати, когда Писарев находился в центре читательского внимания, как самый отважный разрушитель авторитетов предшествующего поколения, Ковнер с горячностью неофита увлекся боевыми статьями знаменитого застрельщика «Русского слова». Зачитываясь его статьями, он усваивает принципы его миросозерцания, характерные приемы литературной экспозиции, основные лозунги и общую манеру. Вооруженный новейшим критическим методом, он применяет его к современным явлениям еврейской литературы, на замкнутом поле которой разрушительные приемы этого боевого анализа производят неслыханное опустошение.

Ковнер систематически и последовательно идет по стопам Писарева. Все излюбленные темы и положения русского критика находят отзвук в деятельности молодого еврейского журналиста. Проповедь реалистического миросозерцания, «разрушение эстетики», пропаганда материализма в своеобразном сочетании с культом личности, восходящем даже к проповеди эгоизма, широкая популяризация естествознания, особое внимание к проблемам педагогики и, в частности, женского воспитания — все эти характерные моменты в деятельности Писарева воспринимаются его верным приверженцем. Он сумеет усвоить и резкую, саркастическую, боевую манеру знаменитого критика, стремясь придать своим статьям такой же стиль вызывающей дерзости и диалектической остроты. Вслед за Писаревым, излагавшим своим читателям новейшие физиологические теории Молешотта, Бюхнера, Карла Фехта или гипотезу Дарвина, Ковнер переводит целиком в своей книге обширную статью Бюхнера «Тепло и жизнь» (из его «Физиологических картин») и компилирует научные материалы в статье — «Как стара земля». По примеру русского критика, осудившего старые педагогические приемы во имя полной реформы образования русского юношества (в знаменитых статьях «Наша университетская наука», «Школа и жизнь», «Погибшие и погибающие»), Ковнер предлагает в своих очерках «Ешиботная бурса» коренное преобразование устаревших методов обучения еврейских подростков. Он также решительно противополагает «идеалистам» новейшую реалистическую доктрину, с таким же задором вызывая на бой представителей

старшего поколения. И при этом основой его миросозерцания становится знаменитая писаревская формула о Базарове: «Ни над собою, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди — никакой высокой цели, в уме — никакого высокого помысла, и при всем этом — сила огромная».

В духе этих новейших воззрений, создавших шумный успех писаревской пропаганде, Ковнер пишет свои книги и журнальные статьи, вкладывая в них весь задор своих умственных увлечений.

IV

Главный объект его нападения — еврейская литература. Является ли она, как вся европейская поэзия, верным зеркалом, отражающим внутреннюю жизнь народа, его особенности, дух и характер? Ни в коей мере, отвечает молодой критик. Еврейская литература представляет собой тепличное растение, оторванное от почвы, лишенное жизненных соков. Еврейские писатели не знают ни быта, ни духа своего народа, они не заботятся о его нуждах, не стремятся вдохнуть жизнь в сердце своих читателей. Они не понимают ни требований времени, ни запросов молодого поколения.

Причина такого плачевного состояния этой старинной литературы — в культе библейского языка: «Во всех цивилизованных странах литература еврейской науки развивается на европейских языках. Оно и понятно. Великие люди находят еврейский язык недостаточным для развития своих живых мыслей. Достаточно указать на Маймонида — светило средневековой философии, который писал свое сочинение на арабском языке; на Мендельсона, создавшего новую эпоху в еврейской жизни и написавшего восемь томов на немецком языке. Между тем всем известно, что эти гениальные люди знали основательно еврейский язык. [За это]…говорит, наконец, и дух времени, непонимаемый старым направлением, но подвигающий молодежь говорить, писать и развивать еврейскую науку на языке русском».

В преданности древнему языку — причина научной отсталости евреев.

«Ведь стыдно же признаться, что среди русских евреев, численно превосходящих все западное еврейство, нет, за исключением одного Слонимского, никого, кто занимал бы видное место в науке и приносил бы общую пользу! Ведь хвастаем же мы, что мы избранный народ, мудрый народ — где же наша

мудрость? Где открытия, сделанные русскими евреями? Где польза, принесенная ими обществу? Правда, евреи лишь с недавнего времени стали приобщаться к европейскому просвещению, всего несколько лет, как на евреев стали смотреть как на *людей*… Все это верно, но тогда почему же автодидакты косятся на молодежь, когда та покидает еврейскую литературу? Дайте молодежи идти своей дорогой — и вы увидите, что она со временем принесет гораздо больше пользы обществу, чем все эти старые автодидакты».

Еврейская литература, по мнению Ковнера, не имеет будущности: «Пусть не думают наши писатели, что они создадут живую, долговечную литературу на древнееврейском языке. Не будет этого! Их задача должна свестись лишь к тому, чтобы при помощи еврейского языка и жаргона возбудить жажду знания в еврейском юношестве, но утолить эту жажду последнее сможет только при помощи европейских языков. Еврейский язык и жаргон будут лишь переходной ступенью, ведущей еврейского читателя в храм живых языков, и только там он узрит настоящий свет».

Эта нападки Ковнера на еврейскую литературу и библейский язык уже решительно отводили его от широкого русла «просветительства». Он всячески подчеркивает свое расхождение с обоими крылами современного еврейства и в своих статьях одинаково бичует и охранителей, и реформаторов.

«Заранее предвижу, — пишет он в предисловии к своей первой книге, — какая страшная буря разразится над моей головой по появлении этой книги, как со стороны ортодоксов, так и со стороны „просветителей“… Если плоха старая раввинская словесность, то не многим лучше и новая, передовая литература, лишенная современного содержания и жизненных идей».

Расхождение Ковнера с представителями просвещения было вызвано не только различием их понимания национальных задач. Оно шло глубже и ударялось в почву политического миросозерцания.

Просветители в Германии, как и в России, отличались весьма умеренными общественными и государственными воззрениями. Их политический идеал сводится всецело к просвещенному абсолютизму, и недаром Ковнер так решительно указывал, что еврейская масса не пойдет за «просвещением», потому что не видит в нем для себя спасительных средств. Сам он уже всецело склонялся к этим требованиям «массы», и общественные сочувствия просветителей представлялись ему отсталыми и изжитыми.

Здесь черта глубокого расхождения между двумя поколениями русского еврейства середины прошлого столетия. Ковнер, несомненно, прикоснулся к философии социализма и действовал во имя этих новейших идей, чуждых старшему поколению. Не имея возможности, конечно, выражать открыто подобный уклон своих воззрений, молодой писатель всеми устремлениями своих боевых статей, всем пафосом своих бунтарских замыслов выдает свою приверженность новейшему социальному устремлению русской критики. Недаром впоследствии, изображая его умственную эволюцию, адвокат Куперник решился осторожно намекнуть перед судом на ранние социалистические увлечения своего подзащитного. «Жадный, как все новички в науке и мышлении, до новостей и крайностей, он мог и должен был по-своему понимать и принимать разные теории, правильному пониманию и оценке которых много мешает то, что о них у нас нельзя говорить вслух…»

Вся литературная работа Ковнера в этот период проходит под определенным знаком новейших запретных теорий. Об этом свидетельствует его сотрудничество в радикальном журнале «Всемирный труд», вскоре запрещенном властями за «явное сочувствие к революционным движениям» и «вредные социалистические идеи». В статьях Ковнера мы встречаем характерное упоминание имени Фердинанда Лассаля, которому он явно сочувствует за то, что знаменитый деятель «всецело принадлежит общечеловеческому делу, посвятив себя всемирному рабочему вопросу».

Из его первых книг на древнееврейском языке уже достаточно обнаруживается его отрицательное отношение к национализму, религии, писателям эстетического направления вместе с горячей приверженностью к нищим народным массам и постоянным исканием тех рациональных, практических, жизненных средств, которыми можно вывести этих многострадальных париев из тисков ужасающего экономического и политического состояния.

В своих статьях на русском языке он по возможности продолжает эту тенденцию. В качестве литературного критика он выступает апологетом «социального романа»: «Теперь только тот роман имеет успех, который анализирует общественные явления, выставляет их темные стороны, указывает на их причины и старается изображать лучший порядок вещей…» Характерно, что еврейский вопрос он сводит к чисто экономическим причинам: «Бедность и влияние окружающей сферы — вот единственные причины невежества и жалкого положения массы всех народов во

всех землях вообще и евреев в России в особенности. Бедность всегда стоит китайскою стеною между массою и просвещением. *Зажиточный класс покупает себе образование и все удобства жизни, но бедный должен работать в поте своего лица, чтобы поддержать свое существование — так где же ему до просвещения?* Одним словом, еврейский вопрос в России не зависит от меньшего или большего количества цадиков, от большего или меньшего числа учеников в еврейских училищах, а от благоприятных внешних условий, от улучшения материального быта евреев. *Еврейский вопрос, таким образом, не есть специально еврейский, а общий социальный вопрос,* достойный внимания всех просвещенных деятелей человечества».

VI

В план социального реформаторства Ковнера входит коренная ломка векового богословского воспитания еврейского юношества в духе новейших практических задач — приобщения к физическому труду и международной светской культуре.

Заканчивая свои воспоминания о школьных годах, Ковнер предлагает ряд радикальных мер к преобразованию начального обучения еврейского юношества. Он считает необходимым прежде всего закрыть все общие ешиботы, выпускающие ежегодно сотни негодных людей, становящихся паразитами общества, и заменить эти школы ремесленными училищами. Но уступая пока «стремлениям темной массы к изучению Талмуда», он предлагает преобразовать один из образцовых ешиботов в обширные приготовительные классы, где бы наряду с изложением Библии и других духовных кодексов преподавались бы первые четыре правила арифметики, русский язык и чистописание. Самый же старинный, известный и лучший ешибот (в местечке Воложине) необходимо превратить в раввинскую академию, где бы наряду с Талмудом и сочинениями знаменитых философов, как Ибн Эзра, Маймонид, Иегуда Галеви и др., преподавались бы и светские предметы — история еврейского народа по Грецу, русская и еврейская грамматика, всеобщая история и география.

Для характеристики этого умственного настроения представляет значительный интерес и маленькая библиографическая заметка Ковнера, весьма рельефно выявляющая его отношение к Парижской коммуне и Интернационалу. Под свежим впечатлением парижских событий ему удается провести в русскую печать следующие несколько строк:

«Черная Книга Парижской коммуны или разоблачение Интернационала». Спб., 1872.

«Прежде всего в ней нет никакого разоблачения „Интернационала“, а имеются только разные сведения, очень темные и сбивчивые, о заседаниях Парижской коммуны. Издатель, кажется, тщательно старался помещать только те сведения, которые не имеют большого интереса. Что за цель была так поступать — не знаем. Но покупать подобную книгу — значит даром бросать деньги, читать ее — значит тратить время и набивать голову вздором».

Эта отрицательная оценка обличительного памфлета, направленного против коммуны, явственно свидетельствует, на чьей стороне был Ковнер весной 1871 г.

В своих статьях он не перестает сводить причины бедственного положения евреев к их религиозному аскетизму и к тому богословскому духу, которым насквозь проникнуто их тягостное существование.

«Исключительная черта еврейской массы состоит в том, что она больше живет будущей жизнью, чем настоящей. Видимый мир сам по себе не имеет никакого значения для набожного еврея. Учение еврейских мудрецов говорит: „Этот свет составляет не более, как переднюю, ведущую в хоромы будущей жизни“. Таким образом, жизнь громаднейшего большинства евреев *до настоящего времени* не имеет твердой реальной почвы под ногами и проникнута только будущим миром. Вся житейская суета еврейской массы, вся ее муравьиная деятельность, все ее задушевные стремления направлены к тому, чтоб как-нибудь поддержать безгрешный дух в грешном теле. Имея такой взгляд на жизнь, масса, разумеется, никогда не могла тяготиться предписаниями раввинов, никогда не роптала на них, а напротив, подвергалась и подвергается всем лишениями с величайшим смирением, а иногда даже с каким-то восторженным самоотвержением. Чем больше религиозных требований предписывал тот или другой раввин, тем большее уважение и благоговение чувствовала к нему масса, которая видела в этих ограничениях глубокую набожность и святость. Чем большей казуистикой и схоластикой обладал раввин, тем больше уважала его масса, хотя ничего не понимала в премудростях его. Религиозный фанатизм, возбужденный раввинами чистосердечно, воспламенял многих до такой степени, что они подвергали себя буквальным пыткам. Так, между евреями нередко можно встретить и теперь таких аскетов, которые добровольно обрекают себя на все возможные истязания… Масса, разумеется, не подвергается подобным пыткам, но она тем не менее в высшей

степени сочувствует и благоговеет пред этими аскетами и большею частью обеспечивает их существование, питая их на свой счет».

В качестве верного последователя Писарева, уделявшего сугубое внимание вопросам женского воспитания, Ковнер останавливается на общественной роли еврейской женщины.

«Дух аскетизма, являясь естественным образом одним из первых тормозов просвещения в еврейской массе, вызвал в северо-западном и отчасти в юго-западном краях замечательное явление, состоящее в том, что все почти еврейские женщины в этих местностях в высшей степени деятельны, а мужчины, напротив, играют роль трутней… Принципы женского труда, о которых так много мечтают русские женщины, давно применимы в самых широких размерах в северо-западном крае, среди еврейского общества. Еврейские женщины заправляют всей торговлей: они занимают должности бухгалтеров, кассиров, корреспондентов, приказчиков; они занимаются комиссионерством, ремеслами, подрядами, — словом, составляют самый живой нерв торговли и промышленности края. Между тем мужья их сидят в своих молельнях за фолиантами Талмуда и, кроме изучения последнего, ничего не делают. И все это происходит оттого, что по еврейскому закону женщины не так обременены религиозными постановлениями, как мужчины, — поэтому первые заботятся о материальных средствах, а последние, строго исполняя религиозные требования, приготовляют материал, необходимый для достижения благ будущего мира. Таким образом, между еврейскими супругами составляется особого рода ассоциация; муж заботится о жизни духа, жена — о жизни тела, — но зато на том свете оба супруга одинаково делятся заслуженным вознаграждением…»

VII

Общее свободолюбивое настроение Ковнера сказалось в одном примечательном отрывке из его тюремного дневника. Эти утраченные тетради (или — в лучшем случае — неизвестно где и в каком виде пребывающие) представляли, вероятно, в литературном наследии Ковнера самые значительные и живые страницы. До нас дошел один только отрывок этих записей, внесенный автором в одно из его писем к Достоевскому. Он изображает в нем одну любопытную беседу середины 60-х гг., рисующую его увлечения, мечты и упования той поры.

«Это было давно! А именно в 1866 г., когда я был еще молод,

когда моя душа была еще очень невинна, когда „в груди кипели жизни силы“, когда сердце было переполнено благородными стремлениями ко всему светлому и доброму и глубокой сознательной любовью к славной молодой девушке, с которой мы решили жить и умереть…

Ездил я из Киева в Одессу, чтобы устроить там гнездо для моей тогдашней славной любви. Это было весною. Тогда еще не было железного пути между этими городами, и я поэтому поехал с еврейским *балаголе* (фурманом). Пассажиров было много, дорога была прескверная, лошади еле-еле передвигали ноги, и мы перетерпели много неприятностей на этом пути. Невдалеке от Балты я на одной станции встретился с одним отставным русским полковником, помещиком, человеком грубым, суровым, но, по-видимому, честным. Мы с ним вместе ездили [sic!] около суток. В разговоре речь зашла о недавнем освобождении крестьян. Полковник был из числа очень недовольных великим актом освобождения и прямо горько жаловался на новый порядок вещей, разоривший его вконец, отнявший у него возможность жить чужим трудом, заедать чужой век.

„Помилуйте, — говорил он горячо, — у меня было немного крестьян, всего около 200 душ, но я был их полным властелином, я распоряжался его животом и смертью, его жена была моей потехой, его дочь моя бессловесная рабыня… А теперь что? Теперь эти самые животные не только не подвластны мне, но чуть не смеются надо мною, глумятся, оскорбляют мою жену, мое семейство, не снимая перед ними шапки… Ах, боже мой, как тяжело, как тяжело!“

И мой собеседник залился обильными горячими слезами.

Я же возражал, выражая открыто свою радость, что царству подобных „господ“ пришел конец, защищал „меньшего брата“, спорил, доказывал всю гуманность и справедливость великой реформы и восхищался, что рабство в первобытной дикой форме уничтожено наконец.

Представьте же себе эту картину! Русский барин, кровью и плотью связанный с народом, проливает горькие слезы о том, что его „брат“ по происхождению, по вере, по вековой связи, перестал быть бессловесным животным, освободился из-под позорного ига, — а бедный еврейчик, ничего общего с русским народом не имевший, терпимый в России, как неизбежное зло, бесправный, беспомощный, забитый, — напротив, всей душою рад, что чуждая и враждебная ему масса призвана к новой жизни, не лежит больше под кнутом и палкой „барина“. Чем искреннее было горе „барина“, чем обильнее были его слезы (крокодила), тем блаженнее колыхалась грудь заброшенного еврея, что нет больше

такого позорного произвола над человеческой личностью.

Такова сила вечной, мировой правды! Таково влияние всемирного общечеловеческого прогресса!»

Многое здесь звучит отошедшей и, может быть, наивно-устаревшей терминологией. Но тем сильнее ощущается здесь то молодое и страстное чувство, которым и через десять лет после этой беседы еще горел этот искатель «мировой правды». Это чувство инстинктивного протеста против всякого гнета, насилия и бесправия было в нем до конца глубоко искренним. Всюду, где Ковнер говорит на эту тему, его речь вырастает до творческого тона и подлинного писательского пафоса.

VIII

Приехав в 1871 г. в Петербург, Ковнер довольно широко разворачивает свою литературную деятельность. Он сотрудничает в журналах «Дело», «Всемирный труд», «Еврейская библиотека», работает в качестве постоянного сотрудника в таких распространенных газетах, как «Петербургские ведомости» и «Голос» Краевского. Крут его деятельности чрезвычайно разнообразен: он пишет критические статьи, библиографические отзывы, общественные фельетоны, рассказы, повести, роман. Он, видимо, имел право через два года напряженного писательского труда искать отдых «утомленному мозгу» в другой деятельности.

С конца 1872 г. Ковнер ведет большой четверговый фельетон в газете «Голос» под общей рубрикой «Литературные и общественные курьезы». Поставленная задача — давать сатирический обзор правой печати и летучую оценку характерных эпизодов текущей жизни — не вполне удалась фельетонисту. При несомненной бойкости пера и легкости общей манеры, фельетоны Ковнера лишены подлинного остроумия, сатирического юмора и того эпиграмматического дара, который требуется данным жанром. Это беглый, но недостаточно заостренный обзор журнальных и бытовых явлений, направленный преимущественно против писателей правого лагеря и крупных столичных дельцов-финансистов. Среди этих забытых тем некоторый исторический интерес представляют беглые отзывы о Достоевском.

С этим писателем Ковнер был с давних пор связан узами глубокой симпатии. Он начинал свою литературную работу в те годы, когда Достоевский, только что вернувшийся из Сибири, широко принялся за журнальную деятельность и был предметом горячего внимания читателей. Передовые критики уделяли особое внимание каждому новому его произведению. Добролюбов

посвятил большую статью «Униженным и оскорбленным», Писарев с исключительным вниманием изучал «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание». Ковнер, как об этом свидетельствуют его позднейшие письма, пристально следил за каждым новым произведением Достоевского — и недаром, конечно, Розанов предложил ему впоследствии написать целую монографию об авторе «Карамазовых».

В момент разгара фельетонной работы Ковнера резко определился поворот Достоевского в сторону консервативных убеждений. В 1871 г. в «Русском вестнике» появились «Бесы», в 1873 г. Достоевский принял на себя редакторство «Гражданина» и начал помещать в нем «Дневник писателя». Четверговый фельетонист «Голоса» отнес это обстоятельство к крупным «литературным и общественным курьезам»; он неоднократно возвращается в своих обзорах к этому поразившему передовую журналистику крутому перелому в деятельности знаменитого романиста. В целом ряде своих фельетонов (вошедших теперь в специальные обзоры критических изучений Достоевского,[7] Ковнер корит защитника «униженных и оскорбленных» за его реакционную публицистику и памфлетический роман. Он это делает с обычным задором, стремясь, очевидно, вызвать писателя на ответ. Но Достоевский воздерживается от прямой полемики и лишь косвенно отвечает на эти упорные нападки. «Теперь дошло до того, — пишет Достоевский в „Гражданине“ 1873 г. (№ 27), — что мы стали выручкой для всех фельетонистов: не об чем писать — а ну есть „Гражданин“, обругать его» и пр. Некоторым полемистам автор «Дневника писателя» готов ответить на их нападки. «Но зато есть такие, которым отвечать уже никак невозможно, — продолжает Достоевский, имея, несомненно, ввиду нападки „Голоса“ и характеризуя довольно язвительно тип „либерального фельетониста“. — Неужели же отвечать таким, пускаться с ними в полемику? Только развороти муравейник — беда! Впрочем, им, видимо, приятно бы было связаться, я замечал это по многим признакам. И уж как задирали…» Впоследствии в своих письмах к Достоевскому Ковнер напомнил ему этот замаскированный ответ на атаку «Голоса». Редактор «Гражданина» в дальнейшем дает отзвук на два фельетона Ковнера, посвященных статьям Достоевского об отце Ниле.

IX

В обзоре первого периода литературной деятельности Ковнера представляют интерес и некоторые его страницы по

национальному вопросу начала 70-х гг., когда боевой задор его ранних писаний несколько понижается, и судьбы современного еврейства вызывают в нем более спокойные и углубленные раздумья. В эти годы он пытался определить и выразить ту фатальную двойственность еврейского сознания, которая сообщила богатое разнообразие его новейшей культуре, но и вызвала в ней некоторые трагические противоречия.

Проблема «Берлина и Иерусалима» представляется ему основной: «Евреи, вследствие многих исторически сложившихся обстоятельств, имеют в своем прогрессивном движении два направления. Одно идет рядом с веком, с духом времени, с наукой, словом, с общей всемирной цивилизациею; другое останавливает их на своем богатом прошедшем, оставившем после себя редкие сокровища поэзии и нравственной философии. Известно, что в то время, когда большинство европейских народов были еще варварами в буквальном смысле этого слова, евреи имели свою богатую литературу, свою глубокую и вдохновенную поэзию, свои организованные школы. Страшные гонения во время покорения их римлянами, преследования со всех сторон во все время средних веков, пытки и костры во время инквизиции и ограничение человеческих прав в новейшее время заставили евреев замкнуться в своей исторической скорлупе, забыться на своем прошедшем, искать в нем спасения и надежды на лучшие времена. Но в то же время дух века никогда не оставался им чуждым. Каждая эпоха прогрессивной мысли имеет в своих рядах и еврейских деятелей, каждая наука находит своих представителей и среди евреев. Несмотря на отчуждение народов, на преследование сильных мира сего, кропотливый книжный еврейский ум как бы чутьем угадывает движение эпохи и более или менее усваивает его. Этот книжный ум, этот дух исследования не дал евреям окончательно заглохнуть в застое прошедшего, а отчуждение народов не дало им возможности примкнуть совершенно к общему движению, и вследствие этого образовался двойственный элемент и двойственное направление в еврейской интеллигенции».

Эта особенность еврейской цивилизации сказывается на целом ряде ее представителей: «Величайший мыслитель своего века Барух Спиноза, при всей глубине созданной им новой, рациональной философии, не мог отказаться от прошлого еврейства, которое оставило глубокие следы на его гениальном уме. Философ и гуманист Мендельсон, этот немецкий Сократ, как его называли современники, этот задушевный друг Лессинга, представляет образцовый пример двойственности еврейского духа. Все его многочисленные ученые труды так и проникнуты

прошедшим и настоящим, Моисеем и Кантом, Иерусалимом и Берлином. Глубоко преданный исторической еврейской миссии, он в то же время всецело поглощен настоящим и вместе с великим Лессингом прокладывает широкий путь будущей немецкой рациональной критике. Гейне и Берне прежде всего были евреями, хотя они затем перешли в христианство. Они всегда сочувствовали своему народу, что, однако, не мешало им быть знаменосцами или, лучше сказать, предводителями молодой Германии, развернувшейся быстро во всю ширь и даль. Из современных немецких писателей Бертольд Ауэрбах есть воплощение упомянутой нами двойственности… Правда, еврейство способно создать и таких деятелей, как Фердинанд Лассаль, который всецело принадлежит общечеловеческому делу, который посвятил себя всемирному рабочему вопросу. Но это редкое и особое исключение подтверждает только правило…»

Таково было первое десятилетие литературной деятельности Ковнера.[8] Контраст двух эпох его жизни — литовских гетто и университетской провинции, а затем и столичного журнального мира — наложил свой отпечаток на все его писания этой поры. Он борется с преданиями старины и жадно впитывает в себя все откровения новейшей умственной культуры. При всем его устремлении в будущее деятельность его отмечена той же фатальной двойственностью, которая лишала его писания цельности, порыва и творческого размаха.

К этому присоединялся один дефект моральной организации Ковнера. Несмотря на боевой писательский темперамент, он недостаточно сильно переживал пленившую его умственную теорию или общественное направление. Умея возбужденно и остро трактовать новейшие проблемы мысли, он не обладал способностью отдаваться им страстно, безраздельно, всем своим существом. В эпоху, когда многие его соплеменники, захваченные социалистическими идеями, решительно переходили на сторону социализма, отважно и планомерно действовали в новом направлении, боролись с поднятым забралом, пренебрегая опасностью, — сам Ковнер остался только в рядах сочувствующих. Недостаточная цельность убеждения и, в силу этого, пониженная его стремительность и ослабленная действенность были причиной его колебаний, коренных перемен в его деятельности, не всегда оправданных внутренней необходимостью, и, наконец, чрезмерной легкости в выборе средств для достижения своих целей.

Этот дефект в моральной организации Ковнера и привел его к тому ложному и рискованному поступку, который может найти лишь некоторое оправдание в фатальном сочетании тяжелых

жизненных условий, но остается по существу тягостным компромиссом, омрачившим его духовный путь и принизившим его личность.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОПЫТ РАСКОЛЬНИКОВА

Необыкновенный человек имеет право… разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует.

«Преступление и наказание», ч. III, гл. V.

I

Приехав в 1871 г. в Петербург из сибирского городка Кунгура без всяких средств и без надежных перспектив на заработки, Ковнер поселяется в семье бедных еврейских мастеровых. Многое здесь должно было напомнить ему его ранние виленские годы. Та же атмосфера многолюдного семейства, барахтающегося в ужасающей и неизбывной нужде. «Нищета была страшная, — вспоминал он впоследствии, — жили без всяких средств».

В этой семье Ковнеру суждено было пережить своеобразный, надрывный роман и вместе с ним сложную умственную и моральную драму, приведшую его к катастрофе. Нам необходимо ознакомиться поэтому с составом и общим укладом этой семьи, в среде которой назрел и разразился тяжелый нравственный конфликт, переломивший надвое судьбу Ковнера.

«В Петербурге в первый же месяц, — рассказывал он впоследствии, — я нанял себе комнату в бедном семействе Кангиссер. Оно состояло из матери — бедной вдовы, старшей дочери, еще двух меньших дочерей и одного сына, который служил в мастерах по перчаточному ремеслу. Узнав, что они евреи, я было хотел переехать, но, увидев, что они очень бедные и честные, и что я составляю для них некоторый доход, я из сожаления остался. Затем я узнал, что Софья Кангиссер лишилась отца еще четырех лет и что мать зарабатывает деньги тем, что продает некоторые вещи: одним словом, нищета была страшная, жили без всяких средств. Всеми силами я старался им помочь, чем мог. София не знала еще грамоты и просила, чтоб я ее

обучал. Она из благодарности привязалась ко мне, до этого она никого не знала, словом, она полюбила меня…» Девушка отличалась привлекательной внешностью и кротким характером. Впоследствии судебный хроникер «Московских ведомостей» отмечал ее миловидность, застенчивость и боязливость. В своих тюремных воспоминаниях Ковнер вспоминает ее большие выразительные глаза.

Обстановка убогого петербургского романа была бы неполной, если бы к общим печальным условиям не примешивалась бы трудная и неизлечимая болезнь. Героиня этой грустной повести, видимо, болела чахоткой. «Она была больна, — показывал Ковнер на суде в присутствии самой Софьи Кангиссер, смягчая, вероятно, картину ее болезни. — Она постоянно страдала катарром легких и должна была пользоваться хорошим воздухом, но на квартире это было невозможно, и она не могла поправиться, хотя я и привозил ей различные лекарства. Словом, она жила моим трудом».

Необходимость поддержать существование больной девушки и всей ее семьи, постоянные материальные заботы о своем отце, жене и детях, вечно преследующая мысль о нуждающихся, голодающих и болеющих близких, — все это заставляет Ковнера всячески искать средств к существованию и напрягать в этом направлении все свои усилия. Скудость литературных заработков, тяжелые условия журнальной работы, редакционные неприятности, принципиальные расхождения с руководителями органов, в которых приходилось работать, — все это заставляет его оставить журналистику: «Разойдясь с Краевским, я решился бросить литературу, успокоить утомленный мозг и отыскать какой-нибудь механический труд…» Недавний фельетонист «Голоса» становится банковским служащим.

Известный автор «Записок еврея» Г. И. Богров знакомит Ковнера с директором Петербургского учетного и ссудного банка А. Заком, ценившим еврейскую литературу и не отказывающим в покровительстве ее представителям. Благодаря этому Ковнеру удается в 1873 г. поступить в ссудный банк на должность русского корреспондента.

Отношения с новым начальством не наладились. Долголетний скиталец и свободный литератор не был склонен подчиниться строгой дисциплине крупного финансового предприятия. Некоторое время ему пришлось прослужить бесплатно, после чего ему был назначен скромный месячный оклад в 50 рублей. Руководители банка, как это было впоследствии заявлено на суде, считали, что приняли Ковнера на службу из сострадания и давали понять, что ему нечего делать в

банке. Отношения его к влиятельному «главному корреспонденту» быстро приняли враждебный характер. Это резко отразилось на отношении к нему директора, который перестал подавать ему руку, не отвечал на поклоны и явно показывал, что хочет отвязаться от непрошенного служащего. Впечатлительный и самолюбивый литератор испытывает глубокие нравственные муки. Тем не менее разрыв с журнальным миром и необходимость поддерживать нуждающихся близких заставляют его терпеть тягостную обстановку, несмотря на унизительное обращение и целый ряд материальных ущемлений. К концу года Ковнер решается писать Заку и просить у него письменно «сжалиться над ним» и назначить ему годовой оклад в 1000 рублей. А главное, ему необходимо было для дальнейшего спокойного существования получить от банка некоторую гарантию прочности своего положения, заключить условие на известный срок, чтобы не находиться под жуткой угрозой ежеминутного увольнения. Нарастающая довольно крупная сумма долгов, запутанность некоторых личных отношений, неопределенность дальнейшего и полная безвыходность из возникшего тупика приводят его в отчаяние и заставляют страстно искать исхода.

II

В момент этих материальных осложнений и невзгод болезнь Софии обостряется: «Она положительно не могла дышать в комнате: я нанял ей дачу по 5 рублей в месяц и дал ей на расходы». В это время трехлетние отношения начинали требовать каких-то иных внешних оформлений. На даче в 1874 г. больная решилась заговорить о замужестве. Ковнер указывает ей в ответ на свою полную необеспеченность, трагическую зависимость от произвола банковского директора, близость надвигающегося увольнения. Когда он решился намекнуть ей на возможность разлуки, больная девушка упала в обморок со словами: «Я без тебя жить не могу». Это окончательно убедило Ковнера не расставаться со своей преданной подругой и во что бы то ни стало обвенчаться с этой «чистой и славной девушкой», полюбившей его «беззаветно, глубоко и пламенно».

Несмотря на совершенно пошатнувшееся положение в банке, он еще надеялся на какое-то улучшение в своей деятельности. Но с наступлением нового года все эти надежды рухнули. Прибавка оказалась незначительной; вычеты за наросший долг банку сильно понижали ежемесячную получку, все решительнее

выявлялась необходимость платить довольно значительные долги, поддерживать близких, разрубить запутавшийся узел личных отношений.

И вот тут-то трудная нравственная дилемма выступила во всей своей обнаженности. Понемногу, медленно вытачивался и под давлением обстоятельств резко заострился опасный силлогизм о праве преступить закон во имя высших соображений альтруизма и драгоценнейших притязаний личности. Мы видели, что Ковнер со времен своего отрочества привык смотреть на себя как на выдающуюся натуру, призванную к творческому труду, великим подвигам мысли и широкой славе. Речь прокурора в его процессе была построена почти целиком на этой чрезмерной переоценке подсудимым своих способностей, прав и призвания.

И действительно, с малых лет будущий «Писарев еврейства» вырастает в сознании исключительности своей природы и величия предстоящего ему жизненного дела. Когда на полпути земного бытия эти долголетние и мучительные надежды оказались обманутыми, творчество было поглощено ничтожной газетной работой, журналистика в свою очередь сменилась мелкой банковской службой, вместо ожидаемой славы приходилось терпеть пренебрежительное снисхождение столичных дельцов — двадцатилетние мечты Ковнера вылились в бунтующую формулу Раскольникова: «Тварь ли я дрожащая или право имею?». Не есть ли «преступление» — лучшее доказательство высшего призвания, явного превосходства отважной личности над толпой трусливых посредственностей, духовного равенства с теми завоевателями и реформаторами человечества, для которых цель всегда освящала все средства? Для Ковнера, как и для героя Достоевского, возможен только утвердительный ответ на эти вызывающие запросы духа, и мы увидим, что он до конца не испытывал никаких угрызений совести и продолжал считать себя этически правым, несмотря на травлю в печати и суровый приговор суда.

К соображениям личного свойства — своеобразной проверке преступлением своей гениальности — примешиваются, как и в «Преступлении и наказании», доводы альтруистического порядка. Атмосфера типичной петербургской нужды со всевозможными болезнями, лишениями и унижениями остро ставит вопрос о праве обратить праздные богатства, сосредоточенные в руках ростовщиков или банкиров, на спасение гибнущих молодых сил. Обстановка многолюдной и нищенской еврейской семьи определенно настраивает Ковнера на тот философский лад, который овладел Раскольниковым в семействе Мармеладовых. Он делится последним с этими хворыми и полуголодными сиротами,

в глазах которых он представляется родным отцом, вставшим из гроба, чтоб облегчить их жалкое прозябание. А главное: «Сонечка, вечная Сонечка…» мог бы буквально повторить этот отважный нарушитель уголовных запретов вслед за героем поразившего его романа: «Соня, Соня! Тихая Соня…»

Логика Раскольникова, «выточенная, как бритва», вонзилась в мысль этого неудачливого реформатора и так же загипнотизировала его, как в романе «проклятая мечта» заворожила петербургского студента. В обоих случаях одинаковое убеждение, что «задуманное — не преступление». В обоих случаях почти математическое вычисление: с одной стороны бессмысленно потерянные, безвозвратно погибшие источники жизни и творчества, с другой — «молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду…» В обоих случаях одинаковый моральный соблазн. «Не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел?..» К этому прибавляется отчеканенный тезис раскольниковской философии: «имеющие дар или талант сказать в среде своей *новое слово*», все эти призванные к разрушению настоящего во имя лучшего будущего, обладают высшим преимуществом героических натур: правом на преступление. «Если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право или даже был бы обязан… *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству». Впервые право гения преступить закон формулировалось с такой отчетливостью.

Эти слова, глубоко поразившие впоследствии знаменитого германского философа и нашедшие всемирное распространение в доктрине ницшеанства, прозвучали откровением для безвестного еврейского литератора. Когда в 1866 г. «Преступление и наказание» появилось в книжках «Русского вестника», Ковнер с жадным вниманием неофита следил за крупнейшими событиями русской литературы. Он уже с пером в руках переживал все значительные проявления русской мысли, и новейший роман, столь высоко оцененный непререкаемым авторитетом Писарева, вырос в крупнейшее событие его духовного развития.

В двух обширных статьях, помещенных в журнале «Дело» в 1867 и 1868 гг. («Будничные стороны жизни» и «Борьба за существование») Писарев отмечал, что в последнем романе Достоевского «действуют и страдают, борются и ошибаются,

любят и ненавидят живые люди, носящие на себе печать существующих общественных условий». Осуждая санкцию кровопролития, он отмечает в герое романа способность сохранять во время самых диких заблуждений тонкую и многостороннюю впечатлительность и нравственную деликатность высокоразвитого человека. Но при этом преступление Раскольникова критик сводит всецело к условиям внешнего существования нищего студента, к той удручающей бедности, которая разжигает его фантазию на обманчивую философскую теорию и толкает его руку на убийство.

Все это с жадностью прочитывалось в далеких южных городах юным кандидатом в «необыкновенные люди», давно признавшим за собой исключительность призвания и необычность дарований. Внимательный читатель Достоевского, тонко разбирающийся во всех особенностях творчества любимого романиста, упоминающий в своих письмах не только «Мертвый дом» или «Униженных и оскорбленных», но и «Скверный анекдот», и «Вечного мужа», Ковнер весь проникся трагедией юноши-преступника, облеченного Достоевским в ореол великой грусти и жертвенного страдания. И когда обстоятельства личной жизни сгрудили вокруг него те же накопления горя и унижений, позорной бедности и боли за погибающих близких, острая казуистика Раскольникова захватила безраздельно его мысль. Гениальная философема Достоевского выросла перед ним в мучительно-жизненную, в единственную спасительную систему разрешения трагически запутанного узла, и вся ударная аргументация знаменитого романа определила для него новый путь опаснейшего действия.

«Я решился похитить такую сумму, — писал он впоследствии Достоевскому, — которая составляет три процента с чистой прибыли за один год пайщиков богатейшего банка в России. Эти три процента составили 168 тысяч рублей… Этими тремя процентами я обеспечил бы дряхлых моих родителей, многочисленную мою нищую семью, малолетних моих детей от первой жены, любимую и любящую девушку, ее семейство и еще множество „униженных и оскорбленных“, не причиняя при том никому существенного вреда. Вот настоящие мотивы моего преступления…»

И, подобно Раскольникову, он не уступает своей правоты общему мнению, судебному приговору и традиционной морали. «Я смело заявляю даже Вам, — пишет он Достоевскому, уже осужденный на арестантские роты и заключенный в тюрьму, — что у меня нет и не было никакого угрызения совести. Пусть предпринятый шаг идет против книжной и общественной морали.

Но я не вижу в этом никакого ужасного преступления, по поводу которого с пеной у рта говорила вся почти русская печать…»

Невольно вспоминается принципиальная нераскаянность Раскольникова: «Я сам хотел добра людям и сделал бы сотню тысяч добрых дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, так как вся эта мысль была вовсе не так глупа, как теперь она кажется, при неудаче… (при неудаче все кажется глупо). Этой глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримою сравнительною пользою. Если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в капкан».

Неудивительно, что осужденный Ковнер обратился из тюрьмы к Достоевскому за высшим судом и окончательным приговором. Не высказывая до конца своей мысли, он дает почувствовать в этих письмах, насколько его «преступный замысел» уходит своими корнями в творчество великого романиста. Опозоренный печатью, заклейменный общественным мнением, отброшенный из передовых кругов интеллигенции в среду шулеров и убийц, он с мучительным напряжением ждет от творца Раскольникова сочувственного понимания, духовной поддержки и высшего нравственного оправдания.

III

Преступление Ковнера, о котором действительно сильно шумела русская ежедневная пресса, не представляло в то время исключительного события. Найдя в лице одного из своих родственников необходимого соучастника, Ковнер переслал на его имя из Петербургского Учетного банка в Московский Купеческий банк подложный перевод на 168 тысяч. Деньги были беспрепятственно выданы предъявителю соответствующего документа.

Ковнер, спешно выехавший в сопровождении ничего не подозревающей Софии Кангиссер из Петербурга, уже был в Москве в момент получения денег. Расставшись со своим соучастником, он отправляется на юг с намерением переправиться отсюда за границу и начать новую жизнь в Америке. По пути Ковнер совершает обряд венчания со своей спутницей. Согласно еврейскому закону, он созывает на одной станции десять евреев-свидетелей, в присутствии которых вручает кольцо своей невесте и произносит соответственную ритуальную формулу.

Обвенчанные «по закону Моисея и Израиля» немедленно же

сели в вагон и продолжали путешествие. По пути Ковнер решил остановиться на сутки в Киеве, чтоб посоветоваться с профессорами о болезни своей спутницы. Но здесь его задерживает сыскная полиция и после неудачной попытки арестованного покончить с собой его отправляют в Москву, где через четыре месяца, 4 сентября 1875 г., он предстает перед судом.

Дело его приобрело к этому времени все признаки «громкого процесса». Русские газеты, лишенные возможности обсуждать достаточно широко темы текущей политической жизни, могли шуметь лишь в области уголовной хроники. В ту пору деятельность молодых судебных установлений вызывала повышенный интерес в обществе и в силу этого широко обсуждалась в печати. Русская публицистика 70-х гг. обильно питалась текущей криминалистикой и охотно создавала в этой сфере крупные сенсации, оживляющие газетный лист неожиданными и громкими эффектами. Характерно, что даже такой философски-публицистический орган, как «Дневник писателя» Достоевского, постоянно обращался к темам судебного мира. О ежедневной прессе не приходится и говорить. Отзывы об уголовных процессах занимают здесь подчас несколько столбцов убористой печати, и нередки случаи, когда стенограмма судебного следствия и прений помещается полностью вместе с обвинительным актом в отчете судебного хроникера.

Вот почему дело об обмане двух столичных банков на крупную сумму не могло не вызвать живейшего отзвука в периодической печати. Но исключительный шум, поднятый вокруг дела Ковнера, был вызван и другими причинами. Герой скандального процесса работал одно время в прогрессивных изданиях, вел вызывающую полемику с органами иных направлений и, разумеется, правая печать не могла пройти молча мимо такого благодарного случая уязвить и посрамить своих противников. «Гражданин» Мещерского, «Московские ведомости» Каткова и ряд других реакционных органов, вроде «Газеты Гатцука» старались всячески усилить шум вокруг этого дела, как бы распространяя печальную репутацию Ковнера на всех деятелей левой печати. Особенно доставалось редактору «Голоса», старику Краевскому, допустившему к ответственной роли общественного обозревателя безвестного провинциального журналиста, оказавшегося в конечном счете замешанным в уголовщину. Этот мотив, настойчиво раздававшийся в русской печати, прозвучал на суде и в речи обвинителя, заключившего свои соображения горестным восклицанием: «Бедное печатное слово! Бедные сограждане!»

Уголовная известность Ковнера вышла за пределы России. Обманутый Московский банк предложил немецким сыщикам 3000 талеров за поимку преступника. Портрет Ковнера был помещен в распространенном немецком издании, после чего в Берлине был даже арестован по ошибке один еврей. Все это разжигало интерес публики к предстоящему судебному разбирательству.

Сам процесс вызвал к себе исключительное внимание.

«Знаменитое, наделавшее столько шума весной сего года дело о похищении посредством подложного перевода 168 тысяч из Московского Купеческого банка, — сообщали „Московские ведомости“, — привлекло сегодня в залу заседаний Московского Окружного суда массу публики». По сообщению «Голоса», когда председатель произнес имя Ковнера и приказал ввести его на эстраду, «в зале водворилась полная, почти торжественная тишина». Обвинял подсудимого товарищ прокурора Н. В. Муравьев, впоследствии министр юстиции, защищал присяжный поверенный Л. А. Куперник. Старшиной присяжных был избран профессор Московского университета, известный историк литературы Тихонравов, имя которого было несомненно знакомо Ковнеру по статьям Писарева.

В своем показании Ковнер изложил вкратце всю свою жизнь и объяснил причины, приведшие его к преступлению (отрывки из этого показания использованы нами выше). В общем, как отмечала одна из газет, подсудимый держал себя на суде «чрезвычайно прилично и спокойно». В судебном следствии, на котором выступал секретарь Учетного банка Богров, дававший показания против Ковнера, произвело отрадное впечатление бесхитростное свидетельство матери подсудимой. «Ковнер жил у нас три с половиной года, — сообщала простодушная старуха, — он вел себя очень благородно. Он нам помогал много, очень много помогал. Он меня жалел и жалел моих маленьких девочек. „Мама, — говорила одна из них, — это папаша наш встал из гроба“. Я говорю: нет, это чужой, только очень добрый, он нас жалеет».

Эти простые слова настроили, видимо, присяжных и публику в пользу подсудимого и, вероятно, отразились на смягчении приговора.

IV

Последовавший затем турнир обвинения и защиты, представленных крупными именами судебного мира, отличался

многими характерными признаками тогдашнего судоговорения. Обе речи не были лишены той звонкой эффектности и блистательной устной публицистки, которыми обычно щеголяли даровитые ораторы пореформенного суда. Любопытно отметить, что обвинитель тщательно ознакомился с литературной деятельностью Ковнера и даже вытребовал себе из редакции «Голоса» все его фельетоны.

«Четыре месяца тому назад, — начал свою речь к присяжным прокурор Муравьев, — в общественных толках и слухах, в известиях, сообщенных печатью, в распоряжениях судебной власти было впервые произнесено имя подсудимого Альберта Ковнера. С тех пор оно сделалось известно всякому, кто приглядывается к явлениям текущей общественной жизни, не упуская из вида и темных ее сторон: оно приобрело мало-помалу ту печальную и темную популярность, которую дает скамья подсудимых по крупному делу, совершение преступления, обратившего на себя общественное внимание своими размерами и своей дерзостью…»

Прокурор обращал внимание присяжных на независимое поведение подсудимого, не желающего, по-видимому, согласиться с приговором общественного мнения и словно стремящегося всячески выставить себя непонятым и гонимым героем. Он призывал поэтому судей решительно низвести личность подсудимого с той призрачной, искусственной высоты, на которой он всеми силами старается держаться, изображая из себя, вопреки очевидности, какого-то необыкновенного человека, брошенного необыкновенными обстоятельствами в чуждый ему омут необыкновенного преступления… «Но необыкновенного в нем только одно — поистине изумительное самомнение, не оставляющее подсудимого ни в каких положениях. Ковнер не кается перед нами в своей вине, а радуется, может быть, сам не понимая всей чудовищности своих откровений… Он приводит всевозможные высшие и нравственные соображения, по которым он решился похитить из Купеческого банка 168 тысяч рублей, но о простой корысти умалчивает, вероятно, в своем изумительном самомнении даже отрицая ее в себе».

Перечислив затем мотивы преступления в том виде, как они приведены в показании Ковнера и изложены в обвинительном акте, прокурор продолжал: «Не правда ли, господа присяжные заседатели, если забыть на минуту обвинение, тяготеющее над Ковнером, то по одним этим побуждениям можно подумать, что в конце их стоит какой-нибудь высокий подвиг труда, какое-нибудь благородное усилие мысли и предприимчивости. Между этими побуждениями есть такие прекрасные, такие чистые, внушающие

сочувствие, например, желание быть самостоятельным и свободным, любовь к бедной, больной и честной девушке, бескорыстное желание устроить ее судьбу, желание обеспечить своих родственников, помочь им, — что может быть лучше и выше этого? И для всего этого сделан подлог, похищено 168 тысяч рублей, замешаны в преступление два человека, из которых один старик, дядя, а другой — та самая бедная больная и честная девушка, счастие и покой которой так заботят Ковнера. Мы невольно впадаем в необъяснимые, неразрешимые противоречия. Пред нами раскрывают картину корыстного преступления, нарушения чужой собственности, бесцеремонного ее похищения, а говорят, что все это совершено ради высоких и честных нравственных целей».

Официальный обвинитель был менее всего склонен понять дилемму Раскольникова. «Мы должны отбросить это объяснение… И признаемся, мы и не понимаем, зачем нужно Ковнеру портить и унижать свое сознание такою явною, бесцеремонною ложью?.. Уж не считает ли он себя каким-то необыкновенным, непризнанным существом, у которого и самый подлог является геройством, в самом мошенничестве сквозят доблесть и честь? Письма его отчасти наводят на эту мысль. Пусть же ваш строгий приговор покажет, что таких существ не бывает на свете или, лучше, что их отвергает общество и обвиняют присяжные…»

Разбираясь в психологии подсудимого, обвинитель подчеркивал принципиальное отрицание Ковнером главной базы общественного порядка — права собственности. «Рассуждение Ковнера в высокой степени оригинально и своеобразно. Московский Купеческий банк, рассуждает он, получает на свой капитал огромные проценты. Сумма в 168 тысяч рублей для него ничего не значит. Употребление же из своих капиталов банк делает не особенно хорошее и полезное. Он, Ковнер, распорядился бы им гораздо лучше, и в его руках капитал в 168 тысяч рублей получил бы самое производительное употребление. Почему же бы ему — такова его логика — не изъять из банка такой капитал и не распорядиться им по-своему? И он считает себя вправе сделать это, как вы видели, не стесняясь средствами. Да и зачем стесняться? Похищая 168 тысяч рублей из банка, ведь он удовлетворит экономическим требованиям их наибольшей производительности и сделает из них лучшее употребление, словом, совершит дело общеполезное. Неизвестно только, что понимает он под этим словом „лучшее“? На добрые ли дела думал он прямо пустить похищенный капитал или рассчитывал быстро увеличить его гениальными оборотами? Поверьте, господа

присяжные, я далек от всякой мысли глумления, но таков ужасный внутренний смысл этого объяснения Ковнера. Но дальше от таких мыслей. Страшно становится, когда подумаешь, к каким результатам и выводам они могли бы привести в своем развитии. Никогда еще, я полагаю, глубокое презрение к чужой собственности и дерзкое на нее посягательство не было так смело и прямо провозглашено на суде и, главное, как бы с желанием освятить, оправдать, узаконить их».

Общее развитие и литературная деятельность Ковнера были признаны прокурором обстоятельствами, отягчающими его вину: «Заметьте, господа присяжные, и то обстоятельство, — заключал обвинитель, — что этот человек поучал нас со столбцов газет и журналов тем требованиям общественной совести, которые он сам попирал таким преступным деянием… Бедное печатное слово, бедные сограждане!»

Речь обвинителя произвела большое впечатление на присяжных. Муравьев в то время только начинал свою судейскую карьеру, но уже считался в Москве самым даровитым обвинителем. Во всех громких процессах второй половины 70-х гг. неизменно фигурирует его имя. Речи этого 25-летнего обвинителя считались событием дня и вызывали повышенный интерес, особенно в официальных и чиновных кругах. С первых же шагов Муравьева на судейском поприще наметились крупные карьерные возможности этого будущего министра юстиции и посла в Риме.

Речь его по делу Ковнера была прекрасно разработана, подготовлена специальным изучением журнальной деятельности подсудимого и, при ораторских данных обвинителя, должна была настроить в определенном духе общественных судей. Впрочем, не менее даровитому молодому криминалисту, защищавшему Ковнера, удалось несколько смягчить это впечатление.

V

«Вы уже слышали, откуда взялся Ковнер, — начал главную часть своей защитительной речи Л. А. Куперник, — слышали, из какой непросветной трущобы быта евреев северозападного края вышел он на свет Божий, как мало-помалу он приобретал сведения, познания, и дошел наконец до того, что имел место в банке, был сотрудником газет и журналов, писал и повести, и романы, и критику, и фельетоны. Вы понимаете, какую гордость он должен был чувствовать, какое самомнение должно было в нем развиться; вы согласитесь также с тем, что имея все-таки

образование поверхностное, нахватавшись вершков, жадный, как все новички в науке и мысли, до новостей и крайностей, он мог и должен был по-своему понимать и принимать разные теории, правильному пониманию и оценке которых много мешает то, что о них у нас нельзя говорить вслух. И вот — с головой сильно, но неправильно развитой, с тщеславием весьма понятным, с порывами к широкой деятельности, к известности, легкие отблески которой он уже видел в своем муравейнике, — такой юноша попадает в Петербург, центр русской жизни и цивилизации, соединяющий в себе все светлые и все безобразные явления нашей жизни, громадное богатство с грандиозной нищетой, изысканные потребности и средства к их удовлетворению и не менее изысканную невозможность удовлетворить самым элементарным нуждам человека. Начинается тяжелая борьба за существование, перемежающаяся светлыми, но не менее того убийственно грустными моментами счастливой любви к женщине и обрывающаяся катастрофой преступления. Нуждаясь сам в куске хлеба, он близко сталкивался с людьми еще более нуждающимися, и мы не можем не оказать справедливости той готовности, с которою он делился последним с этими людьми. Нужда и горе сближают людей, Ковнер все более привязывается к девушке, желание помочь ей и ее родным растет со дня на день, средства если не уменьшаются, то не увеличиваются, являются долги, необходимость кредита, необходимость поддержать, боязнь потерять его, потерять занятие, репутацию. А тут каждое утро, приходя в банк, он присутствует при величавых оборотах миллионов, он видит, как безо всякого труда приобретаются громадные состояния, он видит, как банк, принимая деньги по 3,5 %, получает на них по 8 %, как банк, играя на бирже на разницу, в один миг получает то, что на десять лет могло бы обеспечить сотни людей, он присутствует при всех этих подписочных оргиях, он живет в этой растлевающей среде — мудрено ли, что он не устоял? Подгоняемый нуждой, долгами, страхом за существование, желанием помочь людям, нужда которых сделалась его нуждой, он крепится еще, работает, живет в долг, надеясь на прибавку, на награды… Наступает роковой для него 75-й год. Сразу обнаруживается, что все его надежды обмануты. Он опять обойден, унижен перед своими сослуживцами и по его мнению, не безосновательному, — совершенно несправедливо, произвольно, капризно. Ничто не ручалось ему, что завтра тот же каприз не откажет ему вовсе от места. Тут он решается на преступление…»

В заключение защитник остановился на моральных

страданиях подсудимого после ареста:

«Господа, с тех пор, как Ковнер в Киеве решился покончить с собой, прошло четыре месяца. Разлученный с женой, оторванный от всего света, опозоренный, оплеванный в тех самых газетах, которые еще так недавно поучали нас его устами, в одиночной келье Сущевской части, а потом в нашем многолюдном тюремном замке, много нравственных мук вынес этот человек, многое прошло в его голове, много страдала душа. Думаете ли вы, что это меньшая кара, чем то наказание, которое ему предстоит? И неужели вы не отзоветесь на его вопль о пощаде бессознательно вовлеченной жертвы, жены его? Господа, я кончаю и прошу вас об одном, будьте правосудны, но не будьте жестоки, карайте виновных, но щадите невинных».

В своем последнем слове Ковнер указывал, что его поступок вызван не злою волею, а целой цепью тяжелых обстоятельств, которую он не мог разорвать. Говоря о своей напряженной тринадцатилетней борьбе за существование, в результате который он предан суду, потерял родных и любимую девушку, Ковнер не выдержал нервного напряжения и залился слезами.

В 9 часов вечера присяжные вынесли приговор, которым Ковнера признали виновным, но даровали ему снисхождение. Смягчение наказания, по сообщению газет, произвело на зрителей благоприятное впечатление. Софию Кангиссер оправдали. Суд постановил: лишив Ковнера всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, сослать в арестантские роты на четыре года.

Таким лаконическим стилем сообщали газеты о горестном крушении долголетних мечтаний одного фантаста. Сон славы, в котором двадцать лет жил этот жадный искатель великих деяний, мгновенно рассеялся. Безграничные возможности творчества, влияния, реформаторских подвигов оборвались у порога арестантской казармы. Целая эпоха планов и замыслов безвозвратно погибла. Начиналась тяжелая и жестокая пора искупительного пути.

Прежний, уходящий от него мир в последний раз блеснул Ковнеру прощальным приветом.

Когда присяжные вынесли обвинительный вердикт и суд постановил приговор, осужденный вышел из залы заседания в коридор. Публика уже разошлась. «В это время, — вспоминал впоследствии Ковнер, — ко мне подошла изящная молодая женщина, лет двадцати трех, богато и со вкусом одетая, и протянула мне свою маленькую ручку, в которой я ощутил какую-то бумажку. Я посмотрел на нее с удивлением. Она, в свою очередь, обдала меня таким теплым взглядом, в котором я видел

не только сожаление ко мне, но и убеждение, что она не считает меня таким извергом, каким выставил меня прокурор в своей обвинительной речи. Моя жена, судившаяся вместе со мною и оправданная присяжными, сидела возле меня. Она подняла на прекрасную незнакомку свои большие глаза и ждала, чем кончится эта немая сцена.

— Примите, — тихо проговорила молодая женщина умоляющим голосом.

— Я вам очень благодарен, — заметил я, растерявшись, чувствуя, что мне подали подаяние, — я должен заявить, что пока, слава богу, не нуждаюсь.

— Знаю, — возразила незнакомка, сконфузившись, — но все-таки прошу вас принять мою посильную лепту…

— Но, сударыня, в другом месте ваша лепта, может быть, имела бы лучшее применение.

— Передайте сами, кому хотите, — робко проговорила она, — но прошу вас принять.

Я принял. Молодая женщина сделала грациозный поклон и удалилась.

Кто была эта дама, почему она так настаивала, я так и не узнал, но образ этой доброй души навсегда сохранился в моей памяти. Полученные мною деньги — это были пять рублей — я передал в тюрьме действительно нуждающимся арестантам…»

Ковнер был снова водворен в тюремный замок. Наступившее мрачное трехлетие заключения и этапного следования в Сибирь вскоре ознаменовалось новым ударом — смертью его жены, подкошенной пережитым позором и судьбою любимого человека. Эти скорбные годы озарились один только раз проблеском нравственной поддержки и сочувственного утешения — в тот зимний день 1877 г., когда в Московскую тюрьму на имя заключенного Ковнера пришло письмо Достоевского.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПЕРЕПИСКА С ДОСТОЕВСКИМ
VIA DOLOROSA

Как это и откуда я попал в ненавистники еврея, как народа, как нации?..

Достоевский. Дневник писателя, 1873, III. (Ответ А. Г. Ковнеру).

I

После суда Ковнер был снова заключен в московский тюремный замок, где он содержался и до разбирательства своего дела. По доставлении его из Киева в Москву он только некоторое время провел в одиночном заключении в Сущевской части, где сильно томился и откуда вскоре был переведен в громадное здание московского тюремного замка на Бутырках. Темные уродливые башни и запущенный палисадник перед зданием произвели на него унылое впечатление. Внутренняя жизнь московской тюрьмы еще тяжелее поразила его.

Как лицо, принадлежащее к податному сословию, Ковнер был помещен в общее отделение, где ему пришлось жить радом с опаснейшими преступниками. «Нигде, — отмечает он в своих „Тюремных воспоминаниях“, — не заметно такого различия между дворянской костью и простым народом, как в стенах тюрьмы». Дух сословности крепко держался в тюрьмах и этапах, замечает он далее: «Мне пришлось вынести на себе всю тяжесть положения ссыльного податного сословия». Отчаянные головорезы, тюремные «жиганы», закандаленные арестанты с опухшими и зверскими лицами справляли по ночам пьяные пиршества с бранью, криками, буйными песнями. Ковнеру неоднократно грозили побоями и даже убийством. Пребывание в этом общем отделении, вероятно, скверно бы окончилось для него, если бы заключенные «дворянского отделения» не согласились принять его к себе в качестве прислужника. Это предоставляло ему удобный угол с приличной обстановкой в небольшом флигельке на отдельном дворике, где

привилегированные арестанты могли даже заниматься садоводством и огородничеством. При желании здесь нетрудно было наладить получение писем, книг и газет.

Среда, окружавшая теперь Ковнера, была так же чужда ему, как и обитатели его первого местопребывания. Дворянское отделение было заполнено участниками прошумевшего в то время процесса «клуба червонных валетов», обвинявшихся в бесчисленных подлогах, мошенничествах и убийствах. Злостные банкроты, составители фальшивых векселей, громкие герои тогдашней уголовной хроники дополняли эту среду.

Отдалиться от общего круга не было никакой возможности. Каждому заключенному приходилось беспрерывно находиться в атмосфере всеобщего говора и шума. Но, несмотря на эту невозможность уединиться и сосредоточиться, несмотря даже на строгий запрет иметь письменные принадлежности, писательская натура Ковнера брала свое. В тюрьме он вел свой дневник, в котором, по его позднейшему свидетельству, «было больше мыслей, чем фактов». До нас дошли лишь отдельные отрывки этих тетрадей, вкрапленные в его позднейшие письма; здесь же он написал повесть «Кто лучше?» и комедию из судебного быта; отсюда, наконец, он вступил в переписку с Достоевским.

История его единственного драматического опыта не лишена интереса. В то время русское общество драматических писателей, во главе которого стоял А. Н. Островский, объявило конкурс на оригинальную комедию. Ковнер решил обработать в драматической форме свои наблюдения над судебным миром и написал пятиактную комедию «Наша взяла!» Рукопись была представлена на суд под характерным для автора девизом: «Summum jus — summa injuria».[9] Через некоторое время он узнал из газет, что из 86 пьес, присланных на конкурс, жюри в составе И. А. Гончарова, А. Н. Майкова и А. Н. Пыпина признало только три заслуживающими «особенного внимания» по своим литературным достоинствам, комедия «Наша взяла!» значилась *второй*.

Но это произведение Ковнера, как и многие другие, подверглось печальной участи бесследного исчезновения. Несмотря на его попытки напечатать комедию (переименованную им в «Дружескую услугу») или поставить ее на сцене, он не только не добился опубликования своей пьесы, но потерял в этих заочных хлопотах все следы своей рукописи. Несмотря на все его позднейшие старания, комедия не разыскалась.

Рядом с литературной работой в тюрьме шла культуртрегерская деятельность Ковнера. Он знакомит арестантов с шахматной игрой и устраивает для них

литературные вечера. Одно из первых публичных чтений было посвящено комедии Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Оно имело громадный успех. «Несмотря на то что мои слушатели почти все поголовно были безграмотны, что арестанты любят больше фантастические рассказы и сказки и что названная комедия отличается особенной простотой замысла, — все слушали с величайшим вниманием, чрезвычайно заинтересовались судьбою действующих лиц и горячо благодарили меня за доставленное им великое удовольствие. Мои чтения повторялись часто и всегда с большим успехом».

В московских тюрьмах (сначала в Бутырском замке, затем в другой, «временной» тюрьме) Ковнер пробыл около двух лет. Ему удалось получить от губернского правления признания его неспособным, по слабости здоровья, к отбыванию наказания в арестантских ротах, взамен чего ему предстояло четырехлетнее тюремное заключение. Воспользовавшись циркуляром министра внутренних дел о том, что осужденные подобной категории могут быть высланы на житье в Сибирь, если общества, к которым они приписаны, отказываются принять их обратно в свою среду, Ковнер выхлопотал у своего общества подобный отказ и таким образом получил право отправиться по этапу в Сибирь, где для него начиналась свободная жизнь. Такой добровольной ссылкой он сократил срок своего тюремного заключения почти на два года.

Незадолго до своего отъезда из Москвы Ковнер вступил в переписку с Достоевским.

II

Зная психологическую основу «преступления» Ковнера, нетрудно догадаться о причинах его первого письма к автору «Дневника писателя». Последователь Раскольниковской теории, искупающий тюрьмою опыт своего отпадения от общественной морали, отброшенный судебным приговором в среду патентованных преступников-грабителей, убийц и шулеров, он тщательно и строго пересматривает в своем многолюдном тюремном одиночестве историю своего преступления. Он снова вникает в доводы своих обвинителей и, по совести, не в силах осудить себя. Вокруг него «червонные валеты» считают его вполне своим и не подозревают даже о возможности каких-либо различий в оценке их одинаковых деяний. Но сам он сохраняет глубокое убеждение в своем праве пойти особым, хотя бы и беззаконным путем для полного выявления своего творческого

призвания и верного спасения нескольких голодающих, изнуренных и чахоточных. Его никто еще не понял до сих пор. Не говоря уже, конечно, об обществе, о печати, о присяжных, — ни семья, ни любимая женщина, испугавшаяся его дерзости, ни даже адвокат, блиставший на суде своими прогрессивными воззрениями и меньше всего усвоивший точку зрения своего подзащитного, — решительно никто не мог допустить в условиях правового строя, ревниво оберегающего собственность, возможность нравственного поступка, связанного с нарушением этого фундаментального права. Из современников, к которым он мог обратиться за окончательным осуждением, кажется, один только мыслитель мог взглянуть иначе на это правонарушение и проникнуть в сложныйлабиринт его побуждений и замыслов. Вот почему из тюремной камеры Ковнер отдает себя на высший суд творцу «Преступления и наказания».

26 января 1877 г. он отсылает следующее письмо Достоевскому:

«Многоуважаемый Федор Михайлович!

Странная мысль пришла мне в голову — написать Вам настоящее письмо. Несмотря на то, что Вы получаете письма со всех концов России и между ними — без всякого сомнения — довольно глупые и странные, но от меня Вы никогда не могли ожидать писем.

Кто же, однако, этот „я“?

Я, во-первых, еврей, — а Вы очень недолюбливаете евреев (о чем, впрочем, будет у меня речь впереди); во-вторых, я был одним из тех публицистов, которых Вы презираете, который Вас, т. е. Ваши литературные труды много, азартно и зло ругал. Если я не ошибаюсь, то в одной статье во время редижирования Вами „Гражданина“, Вы чрезвычайно метко отзывались обо мне — не упоминая, впрочем, моего литературного псевдонима, — как о человеке, который всеми силами старался завести с Вами личную полемику, вызвать Вас на бой, но Вы проходили все мои выходки молчанием и не удовлетворили моего самолюбия; в-третьих, наконец, я — преступник и пишу Вам эти строки из тюрьмы.

Собственно говоря, последнее обстоятельство могло бы, напротив, извинить в Ваших глазах мое обращение к Вам, как к автору известных всем в России (т. е. малочисленной интеллигенции) „Записок из Мертвого дома“. Но, увы! Я не такой преступник, которому Вы бы могли сочувствовать, так как я судился и осужден за подлог и мошенничество.

Вы, который так следите за всеми более или менее выдающимися явлениями общественной жизни вообще и

процессами в особенности, давно, я думаю, догадались, что я — Ковнер, который писал в „Голосе“ фельетоны под рубрикой: „Литературные и общественные курьезы“, который затем служил в Петербургском Учетном и Ссудном банке и который 28 апреля 1875 г. посредством подлога похитил из Московского Купеческого банка 168 тысяч рублей, скрылся, был задержан в Киеве со всеми деньгами [Последнее указание не совсем точно. Соучастник Ковнера, скрывшийся за границу, увез из указанной суммы 45 тысяч, незначительная часть денег была переведена Ковнером в Петербург его кредиторам. — *прим. авт.*], доставлен в Москву, судим и осужден к отдаче в арестантские роты на четыре года.

Но в чем собственно цель моего письма?

Вы, как глубокий психолог, поверите мне, что я сам не могу себе выяснить этой цели и что, очень может быть, никакой цели у меня нет. Побудило же меня писать Вам Ваше издание „Дневник писателя“, который читаю с величайшим вниманием и каждый выпуск которого так и толкает меня хвалить и порицать Вас в одно и то же время, опровергать кажущиеся мне парадоксы и удивляться гениальному Вашему анализу.

Я должен Вам признаться, что несмотря на то, что я Вас когда-то искренно ругал и издевался над Вами, читаю Ваши произведения с большим наслаждением, чем всех остальных русских писателей и что с величайшим вниманием и любовью читаю именно те Ваши сочинения, которые и публика, и критика недолюбливает. Нечего говорить, что и „Записки из Мертвого дома“ вещь прекрасная, „Униженные и оскорбленные“ — вещь очень порядочная, „Преступление и наказание“ — бесспорно превосходный роман (мелочи Ваши вроде „Скверного анекдота“, „Вечного мужа“ и проч. мне вовсе не нравятся), но я считаю Вашим шедевром „Идиота“; „Бесов“ я прочитывал много раз, а „Подросток“ приводил меня в восторг. И люблю я в Ваших последних произведениях эти болезненные натуры, жизнь и действия которых нарисованы Вами с таким неподражаемым, можно сказать, гениальным мастерством. В то время, как другие находят последние Ваши романы скучными, я, напротив, буквально не могу оторваться от их страниц, каждый почти период я читаю по несколько раз и удивляюсь Вашему живому анализу всех поступков Ваших героев и замечательному умению держать читателя (т. е. меня) в постоянном напряжении и ожидании. Вы не вдаетесь в мелкие и мелочные описания подробностей наружности действующих лиц, их обстановки, картин природы, туалетов и прочей дребедени, которыми так любят щеголять наши первоклассные писатели, начиная от Тургенева, Гончарова, Толстого и кончая Боборыкиным (который

доходит в этом отношении до отвращения), но зато в Ваших романах (последних) кипит жизнь (положим, отчасти выдуманная, но зато возможная), движение, действие, чего с огнем не отыщешь в произведениях наших первоклассных художников. Но что касается Вашей публицистики, то, хотя и в ней встречаю (помните, что я говорю только о своих личных впечатлениях) гениальные проблески ума и анализа, она страдает, по моему мнению, односторонностью и некоторой странностью. Это происходит, кажется мне, от свойственного Вам одному склада ума и логики — между тем, как большинство мыслящих людей думают проще, низменнее и потому естественнее.

Однако, прежде чем укажу Вам на некоторые странные и непонятные для меня Ваши социальные и философские взгляды, я считаю нужным очертить перед Вами вкратце мою нравственную физиономию, мой profession de foi,[10] некоторые подробности моей жизни.

Никто, я думаю, лучше Вас не знает, что можно быть всю жизнь вполне честным человеком и совершить под известным давлением обстоятельств одно крупное преступление, а затем остаться опять навсегда вполне честным человеком.

Поверите ли Вы мне на слово, что я именно такой человек?

Я человек без ярлыка (под этим названием я напечатал роман в четырех частях, который был запрещен в 1872 г., безусловно, Комитетом министров, на основании закона 7 июня 1872 г.).

Родился я в многочисленной нищей еврейской семье в Вильне, где, т. е. в семье, люди проклинали друг друга за кусок хлеба; воспитание получил чисто талмудическое, до семнадцати лет скитался по еврейскому обычаю по маленьким еврейским городам, где существовал на чужих хлебах. На семнадцатом году меня женили на девушке гораздо старше меня. На восемнадцатом году я бежал от жены в Киев, где начал изучать русскую грамоту, иностранные языки и элементарные предметы общего образования с азбуки. Я был твердо намерен поступить в университет. Это было в начале шестидесятых годов, когда русская литература и молодежь праздновали медовый месяц прогресса. Усвоив себе скоро, благодаря недурным способностям, русскую речь, я увлекся также, наравне с другими, Добролюбовым, Чернышевским, „Современником“, Боклем, Миллем, Молешотом и прочими корифеями царствовавших тогда авторитетов. Классицизм я возненавидел и потому не поступил в университет. Зная основательно древнееврейский язык и талмудическую литературу, я возымел мысль сделаться реформатором моего несчастного народа. Я написал несколько

книг, в которых доказал нелепость еврейских предрассудков на основании европейской науки, но евреи жгли мои книги, а меня проклинали. Затем я бросился в объятия русской литературы. Я переехал в Одессу и там в продолжении четырех лет жил исключительно сотрудничеством в местных газетах, корреспондировал в петербургские газеты. В 1871 году я приехал в Петербург. Тут я начал сотрудничать в „Деле“, „Библиотеке“, „Всемирном труде“ Окрейца, „Петербургских ведомостях“, а затем сделался постоянным сотрудником „Голоса“. Разойдясь с Краевским, я решился бросить литературу, успокоить утомленный мозг и отыскать какой-нибудь механический труд. Я поступил в Учетный банк в качестве корреспондента (русского). Новая сфера, противная моему воспитанию, привычкам и убеждениям, заразила меня. Присматриваясь в продолжении двух лет к операциям банка, я убедился, что все банки основаны на обмане и мошенничестве. Видя, что люди наживают миллионы, я соблазнился и решился похитить такую сумму, которая составляет три процента с *чистой прибыли* за один год пайщиков богатейшего банка в России. Эти три процента составили 168 тысяч рублей.

Это было первое (и последнее) пятно, которое легло на мою совесть и которое погубило меня. В этом совершенном мною преступлении играла главнейшую роль любовь к одной честной девушке честной семьи. Будучи горяч от природы, пользуясь хорошим здоровьем и отличаясь очень некрасивой наружностью, я не знал, что такое любовь хорошей женщины. Но в Петербурге меня полюбила чистая и славная девушка беззаветно, глубоко, пламенно (именно пламенно). Она меня полюбила, конечно, не за наружность, а за душевные качества, за некоторый умишко, за доброту сердечную, за готовность делать всякому добро и проч. Она была очень бедна, у нее была только мать (отец давно умер) и еще три сестры. Я хотел жениться на ней, но у меня не было никакого верного источника к существованию, так как в банке я служил без всякого письменного условия и директор мог мне отказать каждую минуту. К тому же у меня были долги небольшие, но все-таки не дававшие мне покоя… (я в отношении платежа долгов величайший педант).

Не естественно ли после всего этого, что я посягал[11] на вышеупомянутые три процента? Этими тремя процентами я обеспечил бы дряхлых моих родителей, многочисленную мою нищую семью, малолетних моих детей от первой жены, любимую и любящую девушку, ее семейство и еще множество „униженных и оскорбленных“, не причиняя притом никому *существенного вреда*. Вот настоящие мотивы моего преступления.

Я не оправдываюсь, но смело заявляю даже Вам, что у меня нет и не было никакого угрызения совести, совершив это преступление. Оно, конечно, против книжной и общественной морали, но я не вижу в этом никакого *ужасного* преступления, по поводу которого с пеной у рта говорила вся почти русская печать, забрасывая меня грязью и выставляя меня извергом рода человеческого…

Но Вы уже знаете, что я не воспользовался плодами преступления. Меня скоро поймали, арестовали вместе с женою (эта девушка обвенчалась со мною в тюремном замке [Очевидно, Ковнер решил свое первое венчание по обычному праву закрепить официальным обрядом, который, по-видимому, и имел место в тюрьме летом 1875 г. На суде, впрочем, жена его фигурировала под своей девичьей фамилией, под которой она вступила в судебное следствие. — *прим. авт.*]), потом нас судили, меня обвинили, а ее оправдали (спасибо присяжным и за то). Но бедная девушка (Вы понимаете, что, венчавшись со мной при такой обстановке, моя жена и после венчания осталась девушкой) не выдержала своего заключения, моего позора, разлуки со мною на долгие годы, и вскоре после своего оправдания умерла. Этот последний удар был страшнее для меня всего предыдущего, и я чуть с ума не сошел. Я остался один, заброшенный в тюрьме, оплеванный, опозоренный, без всяких средств к существованию.

Не знаю, пережил ли еще один человек в мире подобные душевные пытки, но об этом я подробно писал в своем дневнике, который, может быть, когда-нибудь увидит свет.

Но не об этом речь… Я уверен, что Вы из этого бестолкового, бессвязного очерка поймете мою нравственную физиономию.

Что касается моего profession de foi, то я вполне разделяю все мысли, высказанные (в Вашем „Дневнике“ за октябрь) самоубийцей, и все проистекающие от них выводы, поэтому я не буду распространяться о них. С точки зрения этих мыслей (которые выработаны мною давно и развиты с полной ясностью в моем романе „Без ярлыка“ — почему он и был запрещен), я, понятно, не могу разделять Вашего взгляда на патриотизм, на народность вообще, на дух русского народа в особенности, на славянство и даже на христианство, поэтому я не буду полемизировать с Вами об этих предметах. Но я намерен затронуть один предмет, который я решительно не могу себе объяснить. Это Ваша ненависть к „жиду“, которая проявляется почти в каждом выпуске Вашего „Дневника“.

Я бы хотел знать, почему Вы восстаете против „жида“, а не против эксплуататора вообще. Я не меньше Вашего терпеть не могу предрассудков моей нации, — я немало от них страдал, —

но никогда не соглашусь, что в крови этой нации лежит бессовестная эксплуатация.

Неужели Вы не можете подняться до основного закона всякой социальной жизни, что все без исключения граждане одного государства, если они только несут на себе все повинности, необходимые для существования государства, должны пользоваться всеми правами и выгодами его существования, и что для отступников от закона, для вредных членов общества должна существовать одна и та же мера взыскания, общая для всех?.. Почему же все евреи должны быть ограничены в правах и почему для них должны существовать специальные карательные законы? Чем эксплуатация чужестранцев (евреи ведь все-таки русские подданные): немцев, англичан, греков, которых в России чертова пропасть, лучше жидовской эксплуатации? Чем русский православный кулак, мироед, целовальник, кровопийца, которых так много расплодилось по всей России, лучше таковых из жидов, которые все-таки действуют в ограниченном кругу? Чем Губонин лучше Полякова? Чем Овсянников лучше Малькиеля? Чем Ламанский лучше Гинцбурга? Таких вопросов я бы мог Вам задавать тысячи.

Между тем Вы, говоря о „жиде“, включаете в это понятие всю страшно-нищую массу трехмиллионного еврейского населения в России, из которых два миллиона девятьсот тысяч, по крайней мере, ведут отчаянную борьбу за жалкое существование, нравственно чище не только других народностей, но и обоготворяемого Вами русского народа. В это название Вы включаете и ту почтенную цифру евреев, получивших высшее образование, отличающихся на всех поприщах государственной жизни — берите хоть Португалова, Кауфмана, Шапиро, Оршанского, Гольдштейна (геройски умершего в Сербии за славянскую идею), Выводцева и сотни других имен, работающих на пользу общества и человечества? Ваша ненависть к „жиду“ простирается даже на Дизраэли, который, вероятно, сам не знает, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который уже конечно не руководит консервативной политикой с точки зрения „жида“. Кстати замечу, что в одном Вашем „Дневнике“ Вы выразились вроде того, что Дизраэли *выклянчил* у королевы титул лорда, между тем как это общеизвестный факт, что еще в 1867 г. королева *предложила* ему лордство, но он отказался, желая служить представителем Нижней палаты.

Нет, к сожалению, Вы не знаете ни еврейского народа, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавековой истории, наконец. К сожалению, потому что Вы, во всяком случае, человек искренний, абсолютно честный, а наносите бессознательно вред громадной

массе нищенствующего народа, сильные же „жиды“, принимая министров, „членов Государственного совета“ в своих салонах, конечно, не боятся ни печати, ни даже бессильного гнева эксплуатируемых. Но довольно об этом предмете. Вряд ли я Вас убежду в моем взгляде, — но мне крайне желательно было бы, чтобы Вы убедили меня.

Мое письмо достигло почтенных размеров, а все-таки я до сих пор не могу выяснить себе самому цели его. Мысли переходят от одного предмета к другому, и все так избито, бессвязно, недокончено.

Вот теперь я хочу поговорить с Вами насчет двух моих произведений, которые успел написать, сидя в замке. Одно — комедия в пяти действиях, которую я написал для соискания премии, объявленной Обществом драматических писателей. Конкурс еще не состоялся, и я не знаю результата. В газетах было напечатано, что комедия „Наша взяла!“ (это моя) обращает на себя особое внимание и стоит второю в числе лучших. Я пробовал было сунуться с нею в некоторые редакции, но трусят, боятся ее напечатать, несмотря на то, что признают ее весьма порядочною. Другое — это повесть над названием „Кто лучше?“. Я ее отправил в Петербург, но не знаю еще ответа. Авось, пройдет. Я сделал хитрость и отдал ее в цензуру. И ничего, пропустили. Между тем я опять боюсь, что наши *бесцензурные* издания не решатся ее принять. Экземпляр, который находится в Петербурге, не был в цензуре. Вот, если б Вы хотели принимать во мне участие и содействовать напечатанию моих трудов где-нибудь… Вы бы оказали мне громадную услугу, потому что страшно бедствую, почти голодаю… Я бы написал, чтобы Вам их принесли. Впрочем, я мало надеюсь.

Я давно собрался к Вам писать, и совсем не в этом тоне и духе, но все отлагал. Теперь же пишу Вам, потому что послезавтра переводят всех содержащихся в Московском тюремном замке в новое помещение, где, как утверждают, нельзя будет ни читать, ни писать. А я хотел непременно Вам написать.

Знаете, когда я недавно читал ваш одиннадцатый выпуск „Дневника“, т. е. „Кроткую“, мне пришли в голову, думая о том, что хочу Вам писать, некоторые мысли, которые я внес в мой „Дневник“ и которые привожу здесь буквально. Судите сами, прав я или нет. Вот что записано в моем „Дневнике“:

„Я уверен, что величайшие психологи-романисты, которые создают вернейшие типы порока и дурных инстинктов, анализируют все их поступки, все их душевные движения, находят в них искру Божию, сочувствуют им, верят и желают их возрождения, возвышают их до степени евангельского „блудного

сына“, — эти самые великие писатели при встрече с настоящим преступником, живым, содержащимся под замком в тюрьме, отвернутся от него, если он станет обращаться к вам за помощью, советом, утешением, хотя бы он вовсе не был таким закоренелым преступником, каким они рисуют многих в своих художественных произведениях. Они посмотрят на него с удивлением, станут в тупик… Что, мол, может быть общего между нашей нравственной чистотою и этой действительною грязью, опозоренной судом, тюрьмою, ссылкой, общественным мнением? Это можно объяснить отчасти тем, что, создавая художественные отрицательные типы, как бы грязны и порочны они ни были (напротив, чем грязнее, тем лучше), наши писатели смотрят на них, как на собственное образцовое произведение, как на родное милое детище, и любуются ими, т. е. самими собою, своим умением верно схватить с жизни тип, художественно обработать его мельчайшие изгибы души, чувства и ощущений и проч., и проч. Но какое им дело до постороннего, живого существа, которое погрязло в преступлении, хотя бы оно и рвалось на свет Божий, умоляло о спасении, простирало к ним руки?.. Разве могут возиться они с погибшими членами общества? Им ли делать что-нибудь реальное в их пользу? На это есть многочисленные благотворительные учреждения, могущественные сановники, сильные мира сего. Их дело только творить и создавать художественные образы и типы. Таким образом, в то время, как они любуются всеми тонкостями созданного ими художественного преступника, они, наверное, с чувством некоторого отвращения станут читать письмо от настоящего преступника, тайно присланное им из тюрьмы…“

Это рассуждение вызвано было отчасти воспоминанием, что одно мое письмо, написанное к князю Мещерскому-Гражданину, до сих пор осталось без ответа, между тем ведь он в своих пошлых и отвратительных „Тайнах современного Петербурга“ в лице своего героя — идиота Боба — исправляет род человеческий, обращает на путь истинный извергов, безбожников и самых пропащих людей…

Может быть, Вы захотите заговорить в своем „Дневнике“ о некоторых предметах, затронутых в этом письме, то Вы это сделаете, конечно, не упоминая моего имени.

Если же Вам вздумается мне ответить лично, то прошу Вас написать по следующему адресу: „Присяжному поверенному Л. А. Куперник, в Москве, по Спиридоновке, дом Медведевой, для Альберта“.

Вы понимаете, что я хотел написать Вам в десять раз большее письмо о многих важных вопросах, — но вышло не так, и боюсь,

что давно надоел Вам. Поэтому кончаю.

С глубоким уважением

А. Ковнер».

26 января 1877 г.

III

Несмотря на кажущуюся разбросанность тем и подчеркнутую небрежность композиции этого письма, нельзя не признать в его авторе крупный литературный талант. Письмо его написано мастерски. Острое возбуждение интереса в начале, оригинальная и нисколько не льстивая характеристика писательской манеры Достоевского, стремительная и глубоко обнаженная исповедь, сжатый и волнующий рассказ об одной необычной и печальной судьбе, резкая постановка сложной моральной проблемы, смелое обвинение писателя в несправедливой вражде к безвинному народу — все это брошено на летучие листки с таким молодым задором, свежестью стиля, свободой и уверенностью литературной манеры, какие бывают лишь у крупных дарований, напавших на свой настоящий жанр. Письмо, как известный литературный род, и было такой органической формой нашего автора, в которой он достигал максимального подъема, силы и выразительности.

Неудивительно, что письмо Ковнера чрезвычайно заинтересовало Достоевского. В ответе своему корреспонденту писатель не перестает выражать свое уважение его необыкновенному уму. В «Дневнике писателя» он дает и печатный отзыв полученному документу, свидетельствуя, что это «прекрасное во многих отношениях письмо» его весьма заинтересовало. Он характеризует автора, как «человека весьма образованного и талантливого». Сохранившееся письмо Ковнера в нескольких местах испещрено рукописными заметками Достоевского.

Едва Ковнер отправил свое письмо Достоевскому, как получил последний выпуск «Дневника писателя», за которым внимательно следил даже из тюрьмы. Содержание этого декабрьского выпуска за 1876 г. побудило его продолжать начатую беседу, несмотря на полную неизвестность отношения к ней самого адресата его писем.

По поводу известных выступлений Достоевского в пользу осужденной Корниловой Ковнер считает нужным снять с автора «Дневника» подозрение в его отвлеченном и «кабинетном» равнодушии к подлинному жизненному страданию. Но центр

второго письма — попытка выяснить выдвинутый Достоевским в статье «Голословные утверждения» вопрос о бессмертии души. Убежденный рационалист, приверженец материалистической философии, давний противник религиозного миросозерцания, Ковнер выдвигает против Достоевского аргументацию философского атеизма. Он категорически возражает против основного утверждения Достоевского, что бессмертие души является необходимым условием всякого человеколюбия.

«Конечно, предмет этот так глубок и так широк, что сотни томов недостаточно, чтобы разрешить эту мировую задачу, о которой пишут pro и contra столько умов и гениев в продолжении многих веков — и не в этом письме место опровергать Ваши „утверждения“. Но все-таки не могу воздержаться от некоторых замечании, которые, однако, надеюсь, дадут Вам понятие о почве противников Ваших утверждений…»

Переходя к основному вопросу спора, Ковнер ставит ребром главный тезис диспута:

«Существует ли бог, который *сознательно* управляет вселенной и который *интересуется* (это слово не вполне определяет мою мысль, но Вы наверное ее понимаете) людскими действиями? Что касается меня, то я до сих пор убежден в противном, особенно относительно последнего обстоятельства. Я вполне сознаю, что существует какая-то „сила“ (назовите ее „богом“, если хотите), которая создала Вселенную, которая *вечно* творит и которая *никогда* не может быть постигнута человеческим умом. Но я не могу допустить мысли, чтобы эта „сила“ интересовалась жизнью и действиями своих творений и *сознательно* управляла ими, кем бы и чем эти творения ни были.

Не допускаю я этой мысли потому, что знаю, что весь мир, т. е. вся наша Земля есть только один атом в Солнечной системе, что Солнце есть атом среди небесных светил, что Млечный путь состоит из мириадов солнц (это все говорит наука, которой никто из мыслящих людей не может отрицать), что Вселенная бесконечна, что наша Земля живет относительно немногое число лет, что геология свидетельствует о бесконечных переворотах на ней, что гипотеза Дарвина о происхождении видов и человека весьма вероятна (во всяком случае, разумнее объясняет начало жизни на нашей Земле, чем все религиозные и философские трактаты, вместе взятые), что инфузории, которых миллионы в каждой капле воды, мушки, рыбы, животные, птицы, словом, все живущее, имеют такое же право на существование, как и человек, что до сих пор есть миллионы, сотни миллионов людей, которые почти ничем не отличаются от животных, что наша цивилизация продолжается всего каких-нибудь 4000 лет, что всевозможных

религий бесконечное число (из которых одна противоречивее другой), что идея о единобожии зародилась так недавно и т. д., и т. д., и т. д.

После всего этого, спрашиваю я, какой смысл имеет для меня (и для всех) еврейство, эта колыбель новейших религий, христианство, все эти легенды о чудесах, о явлении Божьем, о Христе, о воскресении его, о Святом духе; все эти святые угодники; наконец, все эти громкие, но пустейшие слова, вроде бессмертия души, человечества, прогресса, цивилизации, народного духа и проч., и проч., и проч.?..

…Неужели творящая сила Вселенной или Бог интересуется ничтожными людскими помыслами? Вы скажете, что человек имеет искру Божию, поэтому он стоит выше всех. Но сколько этих людей? Буквально капля в море. Вы должны сознаться, что из 80 миллионов облюбованного Вами русского народа, в котором думаете находить лекарство (стр. 324; „они в народе в святынях его (sic!) и в нашем соединении с ним“), положительно 60 миллионов живут буквально животною жизнью, не имея никакого разумного понятия ни о боге, ни о Христе, ни о душе, ни о бессмертии ее…»

Свое краткое атеистическое исповедание, впоследствии развернутое в целый трактат и посланное в 1902 г. В. В. Розанову, Ковнер в 1877 г. заканчивает следующим обращением к Достоевскому:

«…Во всяком случае, хотелось бы мне дожить до того времени, когда Ваши „утверждения“ будут не „голословными“. О, как бы я хотел убедиться в этих „утверждениях“! Поверьте, что я первый буду преклоняться перед Вашими „истинами“, когда будет доказано, что они — „истины“. Но боюсь, что никогда Вы этого не докажете».

Так в двух письмах Ковнер раскрывает Достоевскому историю своей жизни и сущность своего мировоззрения.

IV

Получив эти письма, Достоевский был живо заинтересован ими. Вступать в спор на тему второго письма он, впрочем, не захотел, считая ее очевидно слишком значительной для подобного эпистолярного диспута. Через два-три года в своем последнем романе он поставит ее со всей остротой, и даже назовет главу «Братьев Карамазовых», в которой страстно и напряженно трактуется тот же вопрос, формулой pro и contra. Но зато первое письмо бутырского затворника вызывает с его

стороны ответы по всем пунктам с перенесением даже главной реплики в ближайший выпуск «Дневника писателя».

В конце февраля 1877 г. в московскую тюрьму приходит письмо Достоевского.

«Милостивый государь, Г. А. Ковнер!

Я Вам долго не отвечал потому, что я человек больной и чрезвычайно туго пишу мое ежемесячное издание. К тому же, каждый месяц *должен* отвечать на несколько десятков писем. Наконец, имею семью и другие дела и обязанности. Положительно, жить некогда и вступать в длинную переписку невозможно. С Вами же особенно.

Я редко читал что-нибудь умнее Вашего письма ко мне (2-е письмо Ваше — специальность). Я совершенно верю Вам во всем том, где Вы говорите о себе. О преступлении, раз совершенном, Вы выразились так ясно и так (мне, по крайней мере) понятно, что я, не знавший *подробно* Вашего дела, теперь по крайней мере *смотрю на него так, как Вы сами о нем судите.*

Вы судите о моих романах. Об этом, конечно, мне с Вами нечего говорить, но мне понравилось, что Вы выделяете как лучший из всех „Идиота“. Представьте, что это суждение я слышал уже раз пятьдесят, если не более. Книга же каждый год покупается и даже с каждым годом больше. Я про „Идиота“ потому сказал теперь, что все говорившие мне о нем как о лучшем моем произведении, имеют нечто особое в складе своего ума, очень меня поражавшее и мне нравившееся. А если и у Вас такой же склад ума, то *для меня* тем лучше. Разумеется, если Вы говорите искренно. Но хоть бы и неискренно.

Оставим это. Желал бы я, чтобы Вы не падали духом. Вы стали заниматься литературой — это добрый знак. На счет помещения их [Речь идет о присланных Достоевскому двух рукописях Ковнера. — *прим. авт.*] где-нибудь мною не знаю, что Вам сказать. Я могу лишь поговорить в „Отечественных записках“ с Некрасовым или о Салтыковым и поговорю непременно еще *до прочтения их*, но на успех даже и тут не надеюсь. Они, ко мне очень расположенные, уже отказали мне раз в рекомендованном и доставленном мною в их редакцию сочинении одного лица в прошлом году, и отказали, не распечатав даже пакета, на том основании, что от *такого* лица, что бы он ни писал, им нельзя ничего напечатать, и что журнал бережет свое знамя. Так я и ушел. Но об Вас я все-таки поговорю, на том основании, что если бы это было в то время, когда покойный брат мой издавал журнал „Время“, то комедия или повесть Ваши, чуть-чуть они бы подходили к направлению журнала, несомненно были бы

напечатаны (хотя бы Вы сидели в остроге).

NB. Мне не совсем по сердцу те две строчки Вашего письма, где Вы говорите, что не чувствуете никакого раскаяния от сделанного Вами поступка в банке. Есть нечто высшее доводов рассудка и всевозможных подошедших обстоятельств, чему всякий обязан подчиниться (т. е. вроде опять-таки как бы *знамени*). Может быть, Вы настолько умны, что не оскорбитесь откровенностью и *непризванностью* моей заметки. Во-первых, я сам не лучше Вас и никого (и это вовсе не ложное смирение, да и к чему бы мне?) а во-вторых, если я Вас и оправдаю по-своему в сердце моем (как приглашу я Вас оправдать меня), то все же лучше, если я вас оправдаю, чем Вы сами себя оправдаете. Кажется, это неясно. (NB. Кстати, маленькую параллель: христианин, т. е. полный, высший, идеальный, говорит: „Я должен разделить с меньшим братом мое имущество и служить им всем“. А коммунар говорит: „Да, ты должен разделить со мною, меньшим и нищим, твое имущество и должен мне служить“. Христианин будет прав, а коммунар будет не прав. Впрочем, теперь, может быть, вам еще непонятнее, что я хотел сказать.)

Теперь о евреях. Распространиться на такие темы невозможно в письме, *особенно с Вами*, как сказал я выше. Вы так умны, что мы не решим подобного спорного пункта и во ста письмах, а только себя изломаем. Скажу Вам, что я и от других евреев уже получал в этом роде заметки. Особенно получил недавно одно идеально благородное письмо от одной еврейки, подписавшейся тоже с горькими упреками. Я думаю, я напишу по поводу этих укоров от евреев несколько строк в февральском „Дневнике“ моем (который еще не начинал писать, ибо до сих пор еще болен после недавнего припадка падучей моей болезни). Теперь же Вам скажу, что я вовсе не враг евреев и никогда им не был. Но уже сорокавековое, как Вы говорите, их существование доказывает, что это племя имеет чрезвычайно жизненную силу, которая не могла в продолжении всей их истории не формулироваться в разные status in statu.[12] Сильнейший status in statu бесспорен и у наших русских евреев. А если так, то как же они могут не стать, хотя отчасти, в разлад с корнем нации, с племенем русским? Вы указываете на интеллигенцию еврейскую, но ведь Вы тоже интеллигенция, а посмотрите…

Но оставим, тема длинная. Врагом же я евреев не был. У меня есть знакомые евреи, есть еврейки, приходящие и теперь ко мне за советами по разным предметам, а они читают „Дневник писателя“, и хотя щекотливые, как все евреи, за еврейство, но мне не враги, а напротив приходят.

Насчет дела о Корниловой замечу лишь то, что Вы ничего не знаете, а стало быть тоже не компетентны. Но какой, однако же, Вы ученик! С таким взглядом на сердце человека и на его поступки остается лишь погрязнуть в материальном удовольствии…

…Но я Вас вовсе не знаю, несмотря на письмо Ваше. Письмо Ваше (первое) увлекательно хорошо. Хочу верить от всей души, что Вы совершенно искренни. Но если и не искренни — все равно: ибо неискренность в данном случае пресложное и преглубокое дело в своем роде. Верьте полной искренности, с которой жму протянутую Вами мне руку. Но возвысьтесь духом и формулируйте Ваш идеал. Ведь Вы же искали его до сих пор, или нет?

С глубоким уважением

Ваш *Федор Достоевский».*

Тон этого письма заметно отличается от обычных ответов Достоевского его неизвестным корреспондентам. Оценивая выдающийся ум и своеобразный характер обратившегося к нему лица, Достоевский совершенно оставляет тон поучения, наставления или проповеди. Он ставит себя на один уровень с автором этой исповеди, стремится к такой же обнаженной искренности, видимо, тщательно избегает всякого намека на свое моральное превосходство. Знаменитый писатель признает себя равным осужденному преступнику — и это без всякой позы, без малейшего лицемерия. Он сразу прозревает за мелькающими темами полученного письма ту не выраженную прямо, но единственно важную проблему, на которую он должен дать свое окончательное суждение по законам верховного трибунала свободной совести. Это вопрос о виновности Ковнера и о возможности оправдать его по высшим нравственным соображениям индивидуального духа. И нужно оценить прямоту и решительность, с которой Достоевский произносит свой оправдательный приговор, заявляя Ковнеру, что смотрит на его «дело» — *«как Вы сами о нем судите».* Это широкий жест прощения, которого Ковнер так мучительно и так напрасно ждал в течение двух лет.

Но при этом, с громадной осторожностью, с тонким душевным тактом, остерегаясь чем-нибудь задеть замученную и затравленную душу, он указывает на какие-то возможные ошибки в окончательной постановке проблемы. С исключительной прозорливостью угадывая подлинный дефект моральной организации Ковнера — отсутствие в его миросозерцании категорического нравственного догмата — он намекает ему на

необходимость «знамени» для каждого ищущего сознания (нельзя быть только человеком «без ярлыка»).

В заключительных словах такое же мудрое прозрение и почти материнская мягкость в скрытой и еле ощутимой укоризне: «Возвысьтесь духом и *формулируйте Ваш идеал.* Ведь Вы же искали его до сих пор, или нет?»

Ковнер был счастлив, получив письмо Достоевского, и в горячих словах передал ему чувство своей глубокой радости и беспредельной душевной благодарности. Он выражает даже свое огорчение по поводу сомнения Достоевского в его искренности и роняет по этому поводу следующую любопытную оценку современных писателей: «Нет, многоуважаемый Федор Михайлович, прежде всего прошу Вас верить полной моей искренности, в противном случае я не обратился бы к Вам, а к Некрасову, Тургеневу или Салтыкову — потому что я абсолютно убежден в Вашей абсолютной честности в высшем смысле этого слова…» Фраза Достоевского о том, что он не считает себя лучше своего корреспондента, представляется Ковнеру «святотатством». Он возражает против преувеличенного представления Достоевского о еврейском status in statu: «Если где-нибудь сохраняются еще его следы, то только вследствие их невольного скучения на одном месте и самой отчаянной борьбы за жалкое существование.

Затем я в полном недоумении, с чего Вы взяли, что я „ненавижу“ русских и еще *„именно потому, что я еврей“*. Боже, как вы ошибаетесь!» Ковнер с искренним жаром исповедуется Достоевскому в своей горячей любви «ко всякой эксплуатируемой массе вообще и к русской в особенности».

V

Достоевский исполнил свое намерение и один из ближайших выпусков «Дневника писателя» посвятил в значительной части проблеме ковнеровского обвинения — т. е. своему отношению к еврейству. Несколько глав («Еврейский вопрос»; «Status in statu»; «Pro и contra»; «Сорок веков бытия»; «Но да здравствует братство»; «Похороны „общечеловека“») посвящены целиком разбору этого сложного вопроса, причем в своих рассуждениях Достоевский исходит из полученного им письма Ковнера, приводя из него обширные выдержки. Необходимо отметить, что, снимая с себя обвинение в антисемитизме, автор «Бесов» не может скрыть все же своего враждебного отношения к современному еврейству, и ответ его отличается несомненной двойственностью и некоторой

софистичностью.[13] Многие аргументы его производят тяжелое впечатление; Достоевский решается утверждать, что после освобождения крестьянства «еврей» как бы снова закабалил его «вековечным золотым своим промыслом, что точно также в Америке евреи уже набросились всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров», что они же сгубили литовское население водкой и проч., и проч. Ковнер этих доводов не принял и в следующем ответном письме, несмотря на все свое признательное уважение к Достоевскому, открыто выражает ему свои укоры за высказанные чудовищные воззрения.

На этом письме в сущности обрывается философская переписка Ковнера с Достоевским. Остальные его письма носят скорее деловой характер (просьбы содействовать литературным делам). 30 июня 1877 г., перед самой отправкой в Сибирь по этапу, Ковнер прощается с Достоевским и делится с ним своими опасениями и надеждами: «Меня пугает не предстоящий длинный и томительный путь, а то захолустье, куда меня назначат и где в первое время я буду совершенно беспомощен.

Кончая со всем своим прошлым и надеясь с прибытием в Сибирь начать там новую честную и трудную (sic) жизнь, желаю Вам всего лучшего и, главное, здоровья, в котором Вы так нуждаетесь… Если Вы позволите, то из Сибири я Вам напишу».

VI

В начале июля 1877 г. после двухлетнего заключения в московских тюрьмах Ковнер переводится на несколько дней в помещение пересыльной тюрьмы для отправки по этапу в Сибирь.

«Несмотря на образцовый порядок в пересыльной тюрьме и на строжайшую дисциплину, новое место временного заключения произвело на меня потрясающее впечатление, — писал он в своих „Тюремных воспоминаниях“. — Страшный звон цепей, сотни наполовину бритых голов, уродующих человеческий образ, громадные балаганы, в каждом из которых помещалось по 500 человек, — все это ошеломило меня, хотя я прибыл из тюремного замка, далеко не образцового в отношении чистоты и гигиенических требований».

Но тягостные внешние условия бледнели все же перед новой моральной пыткой, предстоявшей Ковнеру. При отправке из Москвы он должен был подвергнуться общему для всех арестантов податных сословий правилу закандаления. В своих тюремных записках он оставил жуткое описание этого обряда, напоминающее знаменитую страницу из «Последнего дня

приговоренного» Виктора Гюго, изображающего аналогичную тюремную сцену (Le ferrage des forçats[14]).

«Зная, что во время переезда из Москвы в Нижний арестантов податных сословий заковывают в „наручные“, т. е. в ручные кандалы, я старался всеми силами как-нибудь избавиться от этого страшного, как казалось мне, мучения и позора». Но усилия оказались тщетными. Отправка арестантов шла своим неумолимые путем.

«…В наручные!» — чаще всего раздавался возглас при приеме арестантов. Это означало, что осмотренный арестант должен быть закован в ручные кандалы. Арестанты проходили через цепь солдат, которые надевали на них железные браслеты.

«Когда очередь дошла до меня, я сильно побледнел. Советник губернского правления, видя, что я одет довольно прилично, в своем платье, принял было меня за привилегированного, но сидевший за тем же столом писарь, справившись со статейным списком, произнес обычную фразу: „в наручные“. Доктор, как мне показалось, посмотрел на меня с некоторым сомнением; но конвойный офицер почему-то злобно смерил меня с ног до головы глазами и громко повторил: „в наручные“. Сердце у меня дрогнуло, и я, шатаясь, отошел от стола и направился в цепь. Зловещий возглас: „в наручные!“ — повторялся вслед за мной на разные лады… Дрожа, я подошел к следившему за мною солдату и протянул руку. Он надел на меня кольцо и глазами стал подыскивать кого-нибудь из арестантов для „пары“. Дело в том, что заковывали по два человека вместе: одному надевали железное кольцо на правую руку, а другому на левую, причем между кольцами имелась цепь длиною всего в пол-аршина, и таким образом „пара“ оставалась неразлучной в продолжении всего пути. Для непривычного человека „железный“ союз составляет настоящую пытку…»

В пути арестанты подвергались постоянным обыскам, а иногда, как это случилось с Ковнером, и «перековкам». Его товарищ был отделен от партии в 60 верстах от Москвы, после чего Ковнер был закован на обе руки. В этом состоянии, как важнейший преступник, он был доставлен в нижегородскую пересыльную тюрьму, которая показалась ему — даже после московских мест заключения — каким-то Дантовым адом.

К счастью, пребывание здесь было кратковременно.

Из нижегородской пересыльной тюрьмы арестантов отправляли на баржах в дальнейший путь. Помещение под палубой представляло собой тесную, темную и душную плавучую тюрьму. На палубу арестантов выпускали лишь на краткую прогулку. Во время этой переправы произошел следующий

характерный разговор.

«Когда нас выпустили на палубу для прогулки, офицер, увидя меня в своем платье среди кандальщиков и бритых голов, подозвал меня и спросил:

— Ты мастеровой, что ли?

— К сожалению, только литературный, — ответил я.

— Как так? — удивленно спросил он.

— Да, я литературный мастеровой, — повторил я, и в коротких словах я ему рассказал о своем прошлом.

— Как же вы не привилегированный? — продолжал он недоумевать.

— К сожалению, литературное ремесло не дает никаких привилегий, — проговорил я. — В особенности приходится об этом сожалеть во время этапа… — прибавил я и тут же высказал свою просьбу о переводе меня в „дворянскую“ каюту.

— Хорошо, я распоряжусь, — проговорил офицер и удалился.

Не прошло и пяти минут, как ко мне подошел унтер-офицер, приглашая перейти в дворянскую. Я, разумеется, поспешил воспользоваться этой милостью».

Из Перми, где Ковнер пробыл в пересыльной тюрьме шесть дней, арестантов отправляли в дальнейший путь на тройках по шести человек на каждой. Переезд этот выпадал как раз на самое жаркое время, когда совместная езда пяти-шести троек поднимала целые тучи удушливой пыли. «Трудно себе представить мучительное состояние этих несчастных арестантов, закованных по рукам и ногам, сидевших в тесноте по шесть человек на подводе и жарившихся на июльском солнце с раннего утра до позднего вечера».

Через Екатеринбург, через Тюмень, долгим мучительным путем, беспрестанно испытывая на себе беспощадность этапного начальства, немилосердно заключавшего его в кандалы и безжалостность товарищей-арестантов, беспрестанно обкрадывавших его по пути, Ковнер достигает, наконец, места своего освобождения — Тобольска. Почти у цели своего странствования он переживает еще один удар. В Тюмени, во время обыска, у него отнимают связку старых газет с его статьями, которые в течение пяти-шести лет тщательно оберегались им в самых трудных житейских условиях. На все его мольбы вернуть ему «этот никому ненужный хлам», следовал грозный окрик начальства:

— Арестантам чтение не полагается!

«Так и пропали для меня мои литературные работы, которые были мне очень дороги и которых в Сибири я нигде не мог достать…» Но освобождение уже было близко.

VII

«Около двух часов дня я увидал издали Тобольск, конец моей Via dolorosa. Громадная река, высокие горы, сверкающие на солнце белые церкви, гигантские леса в окрестностях — все это производит с первого взгляда весьма приятное впечатление. Но какое разочарование потом!

Странно, что по мере приближения к городу я вовсе не чувствовал радости, которую представлял себе заранее, думая о моменте, когда наступит свобода. Сердце не забилось сильнее, когда пароход остановился у пристани; оно было спокойно, когда меня высадили на берег и отправили в местный тюремный замок… Наконец, когда явился полицейский чиновник, и, по рассмотрении наших документов, сказал, что мы можем идти; когда я вышел на улицу без стражи, когда после стольких мытарств я очутился на воле, я был далеко не так счастлив, как надеялся быть.

Мною овладело тяжелое, гнетущее чувство. Мне самому трудно было объяснить состояние своего духа в первые минуты наступившей свободы. Ближайшими причинами этого состояния были, во-первых, страшная физическая и нравственная пытка пережитого этапа, во-вторых, — сознание, что я очутился буквально на улице. В незнакомом городе, без средств к жизни, без цели и надежды впереди, без родного близкого человека, от которого можно было бы услышать ласковое ободряющее слово. В эти первые минуты моей свободы в моем мозгу пролетело все мое прошлое, все хорошее и скверное, мною пережитое, предстало беспомощное, неопределенное настоящее и грозным призраком представилось ближайшее будущее. Радоваться было нечему…

Это горькое пробуждение в первые минуты моей свободы послужило мне началом новой жизни, в которой, правда, было много борьбы и лишений, но и немало радости. Несмотря на то, что я был выбит из колеи, я впоследствии пережил много умственных и душевных наслаждений, испытал и любовь, и счастье, что так редко выпадает на долю лиц, выброшенных в Сибирь и прошедших скорбный путь».

Вскоре Ковнер переселяется из Тобольска в Томск, где у него сохранялись некоторые знакомства.

Начинался новый жизненный этап. После долгих житейских, литературных и нравственных скитальчеств наступала пора более зрелого, спокойного и осмысленного существования. Ковнер уже приближался к своему сороковому году. Пора было точно определить линию своей жизни, осознать до конца свое исповедание и, если не принять какой-либо «ярлык», то явственно

«формулировать свой идеал», как советовал ему Достоевский.

Вторая половина жизни Ковнера, в отличие от его бурной, суетливой и несчастной молодости, проходит в тени, незаметно, бесшумно, но с несомненным углублением его духовной жизни и достижением, наконец, личного счастья, озарившего его преклонные годы.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ДРУЖБА С РОЗАНОВЫМ

«…Розанов об иудаизме обязан говорить не зря, не то, что ему вздумается, а на основании всестороннего знания предмета».

Из письма А. Ковнера к В. В. Розанову 7 ноября 1903 г.

I

Из Томска в самом начале 1878 г. Ковнер сообщает Достоевскому о своем причале к тихой пристани. Он поступил на службу к довольно интеллигентному купцу в качестве письмоводителя и вполне удовлетворен своим материальным положением. Вместо арестантских рот или тюрьмы, где Ковнер должен был бы находиться до 27 ноября 1879 г., он пользуется правом совершенно свободной жизни, занятий и разъездов по всей Сибири. Единственное, что огорчало его — невозможность широко отдаться литературной работе, снова войти в русскую печать и свободно осуществлять свое призвание писателя.

«Правда, Европа пока закрыта для меня, — пишет он в своем последнем письме к Достоевскому, — но, признаться, я не очень по ней скучаю. Сибирь такая благодатная сторона и столько в ней честной и полезной работы для честного труженика, что подобному мне человеку ни к чему стремиться в Европу, где происходит теперь страшный химический обмен старого строя жизни народов, из которого один Бог ведает, что выйдет».

В конце письма он высказывает свое намерение «углубиться еще дальше в Сибирь» и поселиться в Иркутске. Последнее намерение не было осуществлено, но года через три по приезде в Томск Ковнер переезжает отсюда в Омск.

По-видимому, в это время он получает службу в контрольной палате, предоставившую ему необходимое обеспечение, спокойствие и достаточный досуг для литературной работы. Он считал «контроль» самым невинным в смысле нравственной брезгливости ведомством, которое могло превосходно служить литератору, как Спинозе — шлифовка стекол. Это был скромный источник незаметной и не трудной жизни — то состояние, которое отлилось в известном стихе Верлена:

«Служил я хотя в придирчивом, но в сущности безобидном ведомстве, — рассказывает о себе герой „Хождения по мытарствам“, — жил в далекой провинции, где все дешево, где на сто рублей в месяц есть возможность иметь большую квартиру, прекрасный стол, водить знакомства и проч.».

Главное духовное событие этого периода — дружба Ковнера с замечательным сибирским педагогом Егором Кремянским. Ковнер высоко ценил этого преподавателя словесности за его блестящий ум, необыкновенную память, богатейшее воображение и редкую начитанность. Независимый и оригинальный ум, Кремянский не признавал многих общепризнанных авторитетов таких, как Милль, Спенсер, Гюго или Гамбетта. Но зато он преклонялся в русской литературе — перед Пушкиным, Достоевским, Толстым и Одоевским, в западной перед Карлейлем и Гете. Всю жизнь он писал книгу о «Фаусте». Он первый указал своему другу на книги Розанова «Сумерки просвещения» и «Религия и культура», считая их автора «лучше, симпатичнее и всеобъемлюще-обширнее всех современных русских и европейских мыслителей».

Вскоре после смерти Кремянского, последовавшей летом 1901 г., Ковнер сообщал о нем Розанову:

«Человек этот был учителем словесности во многих сибирских гимназиях, воспитателем многих поколений, другом и любимцем гимназистов, гимназисток и кадет. Он был известен всем под ласкательным именем Егорушка. Он много раз уже был описан своими учениками и товарищами. Я также дал его характеристику в одном из моих „Мытарств“, и со мною он был особенно близок. За все 13 лет, которые я прожил в Омске, где Кремянский учительствовал в последнее время, не было почти дня, чтобы мы не видались, не беседовали и не спорили. Когда я уехал в Петербург, мы довольно часто переписывались».

Впрочем, в своих «Мытарствах» Ковнер отмечает идейные разногласия со своим другом: «о многих принципиальных вопросах мы были крайне противоположных мнении…» Зная воззрения Ковнера и учитывая умственные вкусы Кремянского, иного нельзя и предположить.

В середине 80-х гг. Ковнер пишет Льву Толстому письмо по какому-то «жгучему вопросу». Письмо это осталось без ответа, и содержание его нам пока не удалось установить.

После долголетнего пребывания в Омске, в начале 90-х гг. происходит в личной жизни Ковнера крупное событие. Он женится уже в 50-летнем возрасте на молодой девушке, только

что окончившей гимназию, по-видимому, ученице своего друга Кремянского. Для брака с христианкой Ковнер за две недели до свадьбы принимает крещение.

Общий симпатичный облик этой последней подруги Ковнера довольно отчетливо вырисовывается из его рассказов. «Она не шутя меня полюбила, — сообщает он в своем автобиографическом очерке „Хождение по мытарствам“, — и согласилась разделять со мною мою скромную долю и мое одиночество». «Моя жена, — писал он Розанову, — когда была гимназисткой и когда я еще был евреем, т. е. не принявшим православия, полюбила меня, и по окончании гимназии отказала некоторым претендентам, офицерам и русским молодым чиновникам и вышла за меня — старика почти. Крестился же я по необходимости — всего за 14 дней до венчания. Но это уже совсем из другой оперы, о которой когда-нибудь, быть может, более подробно, потому что крайне любопытно и даже поразительно…»

Роман этого стареющего чиновника с юной гимназисткой действительно необычен. «Я был первой ее идеальной любовью, — сообщает Ковнер Розанову, характеризуя свою жену как крайне мягкую и привязчивую натуру с уравновешенным темпераментом, с глубоко правдивым характером. — В нашей семейной жизни, несмотря на громадную разницу лет, воспитания, привычек и проч., мы счастливы в полном смысле слова». И когда несколько позже, уже незадолго до смерти, Ковнер вступает в период старческих недугов, прочность его союза оправдывается в полной мере: «Единственное успокоение, что у меня есть „единственная“, которая с ангельским терпением и беспредельной любовью переносит все мои капризы и лелеет, как малого и милого ребенка».

Внешних сведений об этой последней спутнице Ковнера у нас немного. Она происходила из Перми. Розанов, видевший ее в 90-х гг., отзывается о ней как о «молодой женщине типа курсистки» и, по-видимому, говорит о ней, называя в своих примечаниях к статьям Ковнера «Анну Павловну»… Вот все, что можно пока установить о ней.

Но в первом же месяце их семейного счастья Ковнеру приходится пережить служебную катастрофу. В контроле сменяется начальство. Сразу же определяется враждебное отношение к чиновнику-еврею. Попытки приноровиться к новым условиям ни к чему не приводят, и вскоре Ковнер оставляет службу.

Начинаются скитания в поисках нового места по некоторым торговым городам, заезд в Варшаву, прибытие в Петербург. После

долгих и упорных исканий Ковнер получает место в Ломжинской контрольной палате. В 1901 г. он занимал здесь место помощника ревизора и получал 1200 рублей в год. По-видимому, это последнее место Ковнер получил не без содействия своего прежнего обвинителя, в то время уже министра юстиции, В. Н. Муравьева, к которому в отчаянную минуту обратился за помощью. Во всяком случае, он имел возможность в 1897 г. лично передать Муравьеву свою «Записку» об облегчении положения евреев в России, в которой настаивает на предоставлении полноправия своим соплеменниками, как активным участникам русской государственной жизни.

II

В Ломже восстановилась прежняя спокойная жизнь. Обилие свободного времени — служба отнимала не более 3-4-х часов в день, страстное чтение столичных журналов, газет и новых книг, попадающих иногда и в западное захолустье, литературная работа — почти исключительно для себя, и неугасимая потребность зорко следить за всеми событиями русской общественной жизни и давать на них своеобразный, часто заглушенный, но нередко энергичный и сильный отзвук.

Лишенный журнальной трибуны, потерявший возможность выступать с публицистическим словом, он высказывается на волнующие его темы в письмах к писателям и журналистам. Голос его таким путем нередко доходит и до читателя.

Так он пишет нововременскому Столыпину с протестом против бесцельных жестокостей, практикуемых при отправке политических ссыльных, обреченных и без того почти на верную смерть в сибирских тундрах — и своим письмом вызывает журналиста на ответ в газете. Под непосредственным впечатлением кишиневского погрома он посылает замечательное письмо Розанову; свою записку о евреях он собирается доставить Суворину. Вообще он преимущественно штурмует своей негласной публицистикой нововременскую цитадель реакционной и антисемитской мысли.

Социальная неправда текущей современности глубоко волнует его. «Ах, как тяжело жить в настоящее подлое время. Газеты буквально отравляют мне жизнь. А не читать не могу…»

Но в Ломже он чувствует свое глубокое одиночество. В массе знакомых он не находит ни одного человека, с которым можно было бы побеседовать на волнующие темы. К довершению этого горестного состояния затихает переписка с умирающим

Кремянским — заочным, но все же верным и живым собеседником. Духовное безлюдье растет вокруг него и пугает своей безнадежностью.

III

В 1901 г. Ковнер вступает в переписку с Розановым.

«Вы спрашиваете: откуда я взял, что Вы антисемит? — пишет он во втором своем письме. — Вы пишете дальше, что очень интересуетесь еврейством и что любите (?) самую их плоть и наряд, „включительно до лапсердака и пейсов“, — но это только „с культурной стороны“, как сами прибавляете. Евреев же в плоти и в крови вряд ли любите. Да признаться, и я, несмотря на семитическое происхождение, тоже их не люблю, но меня ужасно мучает и терзает их нищета, их борьба за существование, их невыносимое положение в России. И вот поэтому-то поводу я хочу поговорить с Вами, как я говорил уже однажды с Достоевским, который моему письму к нему об еврейском вопросе посвятил больше половины одного своего „Дневника писателя“ (см. март, 1877 г.).

Дело в том, что еще в конце 1897 г. я лично подал министру юстиции Муравьеву „Записку“, в которой обрисовано ужасное положение евреев в России и сгруппировано много *любопытных* фактов, говорящих в их пользу. К прискорбью, „Записка“, по-видимому, никакого влияния на Муравьева не имела, потому что гонения на евреев становятся с каждым днем ожесточеннее. Но не пора ли остановиться? Вы пишете в том же письме, что до политики и социологии Вам дела нет. Но я Вам не верю и не могу верить. Человек, который столь много пишет о стольких общественных, т. е. социальных, вопросах, как вопрос о браке, разводе, незаконных детях, училищах, учении и проч., и проч., не может не интересоваться „политикой и социологией“. Находя поэтому, что не может Вас не интересовать ужасное положение семи миллионов людей, задыхающихся в своей проклятой „черте оседлости“… [Здесь Ковнер перечисляет ряд мер Муравьева, Банковского и др., направленных к ограничению прав еврейства: недопущение в учебные заведения, запрещение заниматься адвокатурой, лишение избирательного права, бесправное положение в армии, безусловное закрытие для евреев курортных мест и проч. — *прим. авт.*], — я бы хотел, чтобы Вы прочли мою „Записку“ и чтобы Вы сказали по поводу ее несколько слов. Мне желательно это потому, что Вас читают и что к Вашему слову прислушиваются серьезные люди».

IV

Весной 1903 г. в жизни русского еврейства стряслось одно из тех позорных событий, которыми слабеющее царское правительство предполагало закреплять свои позиции, отвлекая беспокойные умы от революции. В Кишиневе произошел еврейский погром при беспримерном содействии громилам со стороны местных властей, направленных соответствующими рескриптами свыше.

Потянулись мрачные траурные дни для еврейства. Жгучая обида и неслыханные страдания, нанесенные кучке невинных, заставили содрогнуться лучшую часть общества во всех странах мира. На свирепую резню, организованную в России агентами власти и свыше одобренную, человеческая совесть отозвалась глубоким негодованием и возмущением. В недрах еврейства раздался гневный голос поэта, словно вобравшего в себя всю скорбь тысячелетних гонений и насилий, чтобы метнуть в современность и в грядущее свой возмущенный стон. Но огненно клеймя сановных палачей, он осуждал и их бессильные жертвы за отсутствие мужественной сопротивляемости.

На развалинах кишиневских кварталов уже звучал голос Бялика:

И загляни ты в погреб ледяной,
Где весь табун, во тьме сырого свода,
Позорил жен из твоего народа —
По семеро, по семеро с одной.
Над дочерью свершалось семь насилий,
И рядом мать хрипела под скотом:
Бесчестили пред тем, как их убили,
И в самый миг убийства… и потом.
И посмотри туда: за тою бочкой,
И здесь, и там, зарывшися в сору,
Смотрел отец на то, что было с дочкой,
И сын на мать, и братья на сестру,
И видели, выглядывая в щели,
Как корчились тела невест и жен,
И спорили враги, делясь, о теле,
Как делят хлеб, — и крикнуть не посмели,
И не сошли с ума, не поседели
И глаз себе не выкололи вон
И за себя молили Адоная!..[16]

В эти дни безвестным эмиссаром от еврейства в стан его врагов выступил забытый публицист 70-х гг. С прямым и открытым обвинением обратился Ковнер к виднейшему представителю «Нового времени», требуя от него ответа за новый кровавый опыт над еврейством. 17 апреля 1903 г. Ковнер писал Розанову:

«Пишу под мучительным впечатлением еврейского погрома в Кишиневе. Хотя с позорного события прошло уже дней десять, но нервы не могут успокоиться. Что же это такое? Доколе подобные зверства возможны будут в России? В погроме виновны не только дикие буяны, но и власти, и печать, и сами евреи. Изумительно бездействие власти в данном случае! Небось, когда фабричные в Златоусте нападали (т. е. намеревались напасть), то губернатор, не стесняясь, приказал стрелять в толпу, из которой на месте осталось более пятидесяти человек убитых, — а тут пьяная орда громит целый город, убивает стариков, женщин и детей (пишут, что последних выбрасывали из окон третьих и четвертых этажей прямо на улицу, на мостовую). Подумайте, какой ужас! Что бы мы перечувствовали, если бы так поступили с нашим ребенком! Кровь стынет в жилах… Уничтожают жалкое имущество нищих пролетариев, — а власть смотрит и бездействует…

Затем немало виновата юдофобская печать с „Новым временем“ во главе, которая изо дня в день травит евреев, выставляя их паразитами, защищая все ограничения их человеческих прав и требуя еще новых и новых. Понятно, что дикая толпа считает евреев „вне закона“ и полагает, что можно их бить и грабить безнаказанно.

Но больше всего виноваты сами евреи, что позволяют себя убивать и грабить. Подумайте только, в Кишиневе более 60 тысяч евреев, из которых, несомненно, около 20 тысяч здоровых мужчин, ремесленников, торговцев, приказчиков и проч., — и не противостоять буйной толпе в 300–500 пьяных негодяев! Ведь если бы кишиневские евреи организовали из себя дружины защитников, то они смяли бы грабителей в один час. Что за подлая трусость! И так всегда во всех погромах, где численность евреев превышала в сто и тысячу раз грабителей. Чем бы объяснить такой панический страх?

Вот все эти мысли угнетают меня до боли, до бессонницы, — и я не знаю, как освободиться от них. Как гнусно, что „Новое время“ совершенно молчит о кишиневском погроме! Точно его вовсе не было. Знаю, дорогой Василий Васильевич, что Вам больно читать подобное про орган, который дает Вам возможность жить и трудиться, но последнее обстоятельство не изменяет горестного факта. Не найдете ли возможным высказать

где-нибудь (конечно, не в „Нов. вр.“) мысль, что евреи будут избавлены от незаслуженных погромов, и Россия — от заслуженного позора и печальных последствий в будущем (мне передали, что кишиневские громилы грабили также христиан и разоряли церкви), путем *полного* уравнения евреев в правах с остальным населением. Вот не бьют же татар, главным образом потому, что они полноправные граждане. Пока же евреи имеют проклятую „черту оседлости“, пока они ограничены во многих человеческих правах, не только дикая толпа будет считать себя в праве убивать и грабить евреев, — но и разные, к позору нашему, интеллигенты вроде Пятковского, Комарова, Суворина, Крушевана et consorts, будут считать своим *долгом* травить их и накликать на их голову всякие бедствия».

Но надежды Ковнера услышать в эти тяжелые дни голос Розанова и даже, по-видимому, вдохновить его на защиту «невинных жертв» оказались тщетными. Тактика суворинской газеты слишком совпадала с официальными намерениями, чтоб стать на сторону возмущенного общественного мнения. Розанов молчал о кишиневских событиях, как и прочие сотрудники полуофициозного органа.

Вскоре он получает из Ломжи новое негодующее письмо, направленное непосредственно против него. Ковнер пишет Розанову о своем глубоком презрении к редакции «Нового времени», которая не только замалчивает дикие зверства кишиневских разбойников, не только не возбуждает сострадания к семействам избиенных мучеников и ограбленных нищих, не только не протягивает им руки помощи, но и заведомо и злобно игнорирует добрые чувства многих русских, громко и открыто клеймящих громил.

«Ума не приложу, откуда столько злобы и низости, столько вражды и подлости среди несомненно интеллигентных людей, не фанатиков, проповедующих зачастую жалость и любовь ко всякому несчастному, даже явно преступному? Почему нищие несчастные евреи составляют для них исключение? Где то зло, приносимое евреями, которое оправдало бы такое зверское отношение к ним интеллигентов из „Нов. вр.“? Ужасающие неистовства кишиневских разбойников могут быть объяснимы глубоким невежеством толпы, праздничным разгулом, опьянением кровью и хищническим инстинктом к чужой собственности. Но чем объяснить подлую вражду Суворинных, Комаровых, Крушеванов к целому народу, который ведь им лично никакого зла не делал? Не хуже ли они, не ниже, не гнуснее диких кишиневских громил? И сердце у меня обливается кровью, вспоминая, что Вы, дорогой Василий Васильевич, *вынуждены*

жить среди таких башибузуков, черпать из такого грязного и ядовитого источника, как ред. „Нов. вр.“, питательные соки для себя и для семейства. Понимаю всю Вашу душевную муку. Или, быть может, витая в высших сферах мышления, касаясь „миров иных“, Вы вовсе не знаете вихрей жизни? Вы, кажется, и „Нов. вр.“ не читаете, а других газет, в которых описаны кишиневские ужасы, и подавно, — следовательно, никакая грязь не может Вас опачкатъ. Но довольно на эту тему. Более к ней не возвращусь».

Через несколько лет Ковнер все же вернулся к этой теме. В 1907 г. в «Церковно-общественной жизни» появились заметки Розанова о еврействе, исполненные обычных для него отрицательных парадоксов и софистических обвинений. Несмотря на малую распространенность органа, бдительный защитник еврейства от критических выпадов философского антисемитизма снова потребовал к ответу автора «Заметок».

«…Не говоря о том, что я не признаю никаких *типических* черт какого бы то ни было народа, что, по-моему, несомненно отличительные черты того или другого народа не лежат в их крови, в их физиологии, а в тех исторических и бытовых особенностях, среди которых они развиваются и которые под влиянием даже *случайных* факторов быстро изменяются (много у меня да и у Вас доказательств этому), — я положительно отрицаю выдуманную Вами роль евреев во всемирной истории. Евреи — не фагоциты, не трусы, не рабы, тем менее — „кровопийцы“, а исторически загнанные люди, борющиеся за свое жалкое существование. Раз евреи изгнаны из якобы своей земли, раз они не имеют ни территории, ни языка, они давно исчезли бы с лица земли, как нация и как тип, если бы другие народы, среди которых они очутились, не поддерживали их обособленность, а следовательно и фанатизм, и злобу исключительными против них законами… Уничтожьте подлые законы против евреев, и последние быстро (конечно, сравнительно), сольются с окружающими их народностями, и трудно будет отличать их друг от друга, — и явятся между евреями и таланты, и гении, ничуть не менее, чем у других народов. Вы забываете, что просвет в мрачной жизни русских евреев продолжался всего каких-нибудь двадцать лет (с 60-х по 80-е гг. прошедшего столетия), а Вы требуете от них Пушкиных, Тургеневых, Толстых, Боткиных, Пироговых! Если 100 миллионов православных людей дали такую горсточку талантов, то как требовать от 3–4 миллионов загнанных забитых рабов гениев? А посмотрите, сколько истинно талантливых евреев появилось в России за эти двадцать лет! Я перечислил некоторых из них в моей „Записке“ Муравьеву, которую Вы читали, и я удивляюсь, что Вы совершенно

игнорируете выставленные мною в „Записке“ факты.

Но довольно об этом *проклятом* вопросе! Не могу не заметить разницу между Вами и Соловьевым в отношении еврейского вопроса. Последний, т. е. Соловьев, винил в несчастных особенностях евреев христиан же и, смотря на еврейскую историю с очень широкой точки зрения, не признавал в них одних только фагоцитов, шапочников (?), рабов и трусов, — а Вы, любя по-своему евреев и признавая их историческую роль, все же думаете, что они в чем-то виноваты, что их тип и раса не могут дать талантов и гениев».

Так на протяжении нескольких лет с редкой настойчивостью и неслабеющим подъемом отставленный публицист стремится воздействовать на влиятельного в известных кругах писателя, пытаясь изменить его предвзятую точку зрения и привить ему иные, более правдивые и человеческие воззрения. Настойчивость его напоминаний, уверенность его аргументации, богатство доводов, примеров, иллюстраций, а главное, непоколебимая убежденность в справедливости своего дела и жгучей жизненности своей темы, сообщают этим неизвестным письмам значение выдающихся страниц в обширной международной литературе по тому же тысячелетнему вопросу.

V

Другая тема переписки Ковнера с Розановым — обоснование атеизма.[17] Как и тридцать лет перед тем, в письмах к Достоевскому, убежденный материалист обращается теперь к одному из виднейших представителей противоположного лагеря с категорическими и прямыми вопросами. В его последнем письме к Розанову словно слышится голос великого еврейского лирика предшествующего поколения:

> Laß die heil'gen Parabolen,
> Laß die frommen Hypothesen —
> Suche die verdammten Fragen
> Ohne Umschweif uns zu lösen.[18]

31 декабря 1902 г. Ковнер посылает Розанову свой небольшой трактат «Почему я не верю», в котором он попытался в сжатой форме атеистического кодекса формулировать свое воззрение на смысл и цели мировой жизни. Отказываясь от всякого религиозного истолкования космоса, Ковнер ищет обширной и прочной этической базы для оправдания мира и устройства

человечества. Отвергая христианство не только как вероучение, но и как мораль, безусловно невыполнимую для человечества (здесь слышится отголосок обвинения Великого Инквизитора: «Ты поступил, как бы не любя людей»), Ковнер ищет иных традиций и основ для своей арелигиозной этики. И эту живую и вдохновляющую стихию для своего исповедания он находит в учении одного современника Христа — еврейского мудреца Гиллеля.

Образ этого мыслителя необыкновенно пленителен. Кроткий и смиренный Гиллель представляется нам каким-то Франциском Ассизским еврейства, рассыпающим в поэтических баснях и притчах высокую мудрость своего сердца. Смысл его учения — облегчить человечеству выполнение трудных нравственных требований Библии, очеловечить предписания пророков и поставить обязанности человека к ближнему и к самому себе выше его обязанностей к Богу. Невыполнимую библейскую формулу «люби ближнего, как самого себя», рассчитанную лишь на избранников, праведных, героев и святых, Гиллель стремился упростить и сделать доступной для всей человеческой массы. Все моральные постулаты он сводил только к воздержанию от того, что вредно ближнему. Являя редкий пример подвижнической любви, доходившей до полного самопожертвования, Гиллель решался обременить человечество лишь запретом взаимного вреда. Когда, по преданию, к нему обратился один язычник с просьбою изложить в нескольких словах сущность иудейского вероучения, Гиллель ответил ему краткой и великой формулой: «Что тебе неприятно, того не делай ближнему, — вот сущность всей Торы, все остальное только комментарии. Иди, изучай!». В излюбленных изречениях Гиллеля сквозит вечная забота о стройном социальном порядке, основанном на взаимной благожелательности, о добродетели уживчивости и взаимного внимания: «Будь учеником Аарона: люби мир и водворяй его повсюду; люби людей и приближай их к закону кротости; не удаляйся от общества».

В основу своего трактата Ковнер кладет учение «великого гуманного равви». Христу он решительно противопоставляет Гиллеля с его учением о возможной и выполнимой морали.

Розанов помещает в своей книге исповедание Ковнера рядом с прошумевшим в свое время «Словом епископа волынского Антония», стремясь показать читателю, насколько у неверующего еврея больше кротости и человечности, чем у знаменитого православного иерарха.

«С этим „Посланием к русскому народу“ грозного волынского епископа не бесполезно сопоставить полученное мною в 1902 г.

одно любопытное „Исповедание“. Из него епископ увидал бы, до какой степени обессилели перуны, которыми он грозит людям, а читатели увидят, до какой степени у „неверов“ сохраняется более благодушия и привязанности к человеку, заботы о человеке, нежели у держателей земных и загробных перунов. Автор письма — еврей, тот самый, который в феврале 1877 г. написал Ф. М. Достоевскому письмо в защиту евреев, которое вызвало у Достоевского в мартовском номере „Дневника писателя“ знаменитое рассуждение о еврейском вопросе („Еврейский вопрос“, „Pro et contra“, „Status in statu“, „Сорок веков бытия“, „Но да здравствует братство!“). У Достоевского приведены и отрывки из „длинного и прекрасного письма“ этого еврея, по которым можно судить, что он и в старости („Почему я не верю“ писано уже на 61-м году возраста) сохранил ту же манеру суждения, жар его, какую имел в молодости, 25 лет назад (еврея этого я потом видел один раз, он случайно приезжал в Петербург). Он во второй раз женат, на русской, сравнительно молодой женщине, типа курсистки, ради которой (т. е. чтобы получить право жениться) принял христианство. Очень (до редкости) семейно счастлив, очень любит русский народ, страшно, как и всегда, болеет за еврейский народ, подавал, еще при Сипягине, ему и другим министрам, „записки“ о снятии „черты оседлости“. Но как еврейство, так и христианство, и всякую вообще религию и самую религиозность он считает *предрассудком, суеверием и темнотой.* Между прочим, от него я услышал замечательную фразу, сказанную о чиновниках-сослуживцах: „Все они к Рождеству, к Пасхе просят *наградных,* и в году тоже стараются получить *пособия*: а откуда взять русскому народу. Он нищ. Но самые образованные чиновники точно не понимают, что казначейство и народная котомка — это одно: и народ они жалеют, а себе все-таки просят“. Это он ответил на вопрос мой о наградных ли или пособии ему, на что он ответил, что никогда их не получал и никогда их не просил (жалованье его 150 рублей в месяц). По воззрениям он — либерал с оттенком радикализма, — Писарев еврейства или „Русское богатство“ среди евреев».

Самый трактат Ковнера в своей первой части сводит в систему аргументы против существования великой разумной силы и против возможности каких-либо взаимоотношений между ней и человеком. Он утверждает, что гипотеза о сознательном творце мира все спутывает в сознании мыслящего человека, хотя сама она безнадежно разбивается о простой вопрос: кто создал самого Бога? Он ссылается на сравнительно недавнее возникновение всех известных религий (лютеранству 400 лет, магометанству — 1300, христианству — 1900, иудейству и

буддизму — 4000), чтоб поставить вопрос: что же было раньше, и почему данное откровение не проявилось в предшествующие эпохи? «Если религии установлены во времени, если все якобы истинные религии так юны в сравнении с человечеством, то не доказывает ли это, что, ни одна из них не божественна, а следовательно, ни для кого не обязательна?»

Переходя затем к вопросу о том, как жить без религии и веры в загробную жизнь, Ковнер строит будущие условия современного общежития исключительно на законах разума и справедливости.

«По законам разума и справедливости, руководящим принципом поведения человека, в союзе должна быть не заповедь: „люби своего ближнего, как самого себя“, высказанная Моисеем неоднократно (Левит, гл. 19, ст. 18 и 34) и повторенная Христом, которая не соответствует человеческой природе, а жизненная мудрость, высказанная как главное правило поведения еврейским же мудрецом Гиллелем, жившим до Рождества Христова, именно:

„Не делай ничего того, что вредно твоему ближнему“.

В это правило, как глубоко определил великий гуманный равви, укладывается все учение, вся этика, а по-моему, и все социальные принципы человеческого общества. Если А. допустит сделать то, что могло бы быть вредно для Б., то он должен согласиться, что и Б. может дозволить себе то, что вредно ему, А. Ясно, что при таком порядке немыслим никакой разумный прогресс, никакие условия улучшения человеческой жизни.

Что касается положительного добра, в котором люди по своей физической природе и организации часто нуждаются (каково учреждение больниц, приютов и убежищ для больных, детей, беспомощных) и которое, с первого взгляда, связано с признанием божества и бессмертия, — то при устройстве общества на началах разума и справедливости оно может осуществиться и без религиозных импульсов».

[К этому месту Розанов делает следующее примечание: «Со всем этим я глубоко согласен. Это Достоевский наклеветал на человека, что „без Бога и веры в загробную жизнь люди начнут пожирать друг друга“. Прежде всего, они при „вере“ и в Бога, и в загробную жизнь жгли друг друга, — что едва ли лучше пожирания; и жгли веками, не индивидуально, а церковно. Но оставим эти старые истории. Для меня совершенно очевидно и из непосредственных фактов мне известно, что люди, совершенно не верившие в Бога и в загробную жизнь были людьми в то же время изумительной чистоты жизни, полные любви и ласки к людям, простые, не обидчивые, не завистливые. Мне ужасно грустно сказать, — ибо это есть страшное испытание для всякой веры, — что этих особенно чистых и особенно добрых, правдивых и

ласковых людей я встречал почти исключительно среди атеистов. Это до того страшно и непонятно, что я растериваюсь: но должен сказать, что видел. И у этих людей нет никакой меланхолии, так что они „не от грусти добры“, напротив — превеселые. Так что, очевидно, социальное строительство может или могло бы произойти вовсе без религии и чувств к Богу. Я думаю только, что это индивидуально грустно было бы. Мне было бы грустно! Но и говоря так, я все-таки подтверждаю, что неверующие люди почему-то лучше верующих. Все это ужасно грустно. Чтобы, однако не обидеть и верующих, я должен сказать, что и среди них наблюдал людей изумительной отзывчивости, красоты и тишины души: но только это бывало как личное исключение, а у невера это — в толпе, толпою». — *прим. авт.*]

Ковнер переносит далее вопрос в план социального строительства.

«Но как устроить, чтобы отдельные личности не имели власти и возможности делать вредное и зло другим личностям? Решение этого вопроса составляет более задачу социологии, чем религии. Последняя в течение тысячелетий ничего почти не сделала для облегчения страданий человечества. Напротив, все религии Божьею милостью, в том числе и религия любви и сострадания, христианство, — санкционировали деление людей на касты, рабство во всех его видах, религиозные войны, инквизицию, пытки, казни, неравномерное распределение труда и богатства, беспричинное человеконенавистничество и всякий деспотизм. Все это зло совершилось и совершается во имя религии, проходит красной нитью по всей всемирной истории и составляет главную суть. Между тем все освободительные начала, все великие дела, совершающиеся для блага человечества, все попытки сокрушить деспотический строй государств, все гуманные инициативы в пользу трудящихся масс выросли и развиваются на почве разума и справедливости, помимо бредней религии о божестве.

И замечательно, что идеи, основанные на разуме и справедливости, сделали такие сравнительно колоссальные успехи в какие-нибудь полтора века, в течение второй половины XVIII и XIX столетий, — тогда как религии на протяжении тысячелетий не только не принесли никакой осязаемой пользы человечеству, но творили и творят положительное зло, порабощая ум и волю человека.

И если горсточка людей науки и разума, вопреки яростному сопротивлению официальных представителей религий достигла в короткое время таких полезных результатов в благоустройстве хотя бы рабочих масс, каковы школы, больницы, эмеритуры,

взаимное страхование, сокращение числа рабочих часов, то вполне можно рассчитывать, что с упразднением религиозных предрассудков и бредней, с расширением знания и опыта, с просветлением умов сумма положительного добра превзойдет сумму царствующего теперь зла, и что идея справедливости, хотя бы в формуле: „Не делай ничего того, что вредно твоему ближнему“ сделается регулятором человеческих судеб». [К этому месту Розанов делает примечание: «Все это грустная истина». — *прим. авт.*]

Подводя итоги своему рассуждению, Ковнер сводит свои соображения к четырнадцати основным тезисам:

1) Существование божества как сознательного Творца Вселенной и сознательного ее управляющего ничем не доказано.

2) Мировая Сила, все творящая, непонятна и непостижима для нас.

3) Ни божество как сознательный Творец Вселенной, ни Мировая Сила не имеют никакой живой, непосредственной связи с человеком.

4) Человек не имеет никаких обязанностей ни к тому, ни к другому божеству, если бы оно и существовало.

5) Идея о божестве не врождена человеку, а привита ему средою и воспитанием.

6) Разнородные формы и требования разных религий доказывают, что ни одна из них не истинная, ибо истина только одна.

7) Если бы божеству для чего бы то ни было нужны были познание, повиновение и любовь к нему человека, то оно вложило бы эти свойства в самую природу человека.

8) Возможное продолжение бытия человека после смерти в какой-нибудь форме ни к чему его не обязывает.

9) Благие отношения между людьми скорее установятся законами разума и справедливости, чем правилами религий.

10) Религии до сего времени санкционировали всякое зло.

11) Крупица добра, встречаемая в обществе людей, есть дело науки и разума, а не религии.

12) Половые отношения должны регулироваться законами физиологии и гигиены, а не правилами религий.

13) Разумное устройство семейного начала есть дело социологии, а не религии.

14) Главное — и единственное — правило поведения человека среди себе подобных: *«Не делать ничего того, что вредно другому».*

Печатая это «Исповедание неверующего», Розанов сопроводил его и кратким послесловием, в котором лишний раз выразил свою

глубокую симпатию к его автору:

«Уже из замечательного недоумения его (ни от кого из русских я не слыхал): „Как просить прибавки к жалованью, когда народ так беден?“ — видно, что писавший — добрый человек и хороший член всякого возможного „союза“ (общества, корпорации, государства). Но и кроме того, кто умеет по *стилю* письма судить о человеке, увидит, что это — правдивая и ясная душа, „каких дай Бог“. Если же эту атеистическую записку сопоставить с злобною речью волынского „владыки“ о Страшном суде, то контраст выйдет поразительным».

VI

Этот диспут имел еще один отголосок, уже незадолго до смерти Ковнера. В «Русской мысли» 1908 г. появилась статья Розанова о сущности христианства. Ковнер, в то время уже безнадежно больной, решает в последний раз выступить с «исповеданием неверующего» и перед концом высказать еще раз свою критику христианства. Он выступает здесь уже не против одного Розанова, но против целого течения новейшей русской мысли, представленного и Мережковским, и Бердяевым, которых Ковнер также называет в своем письме.

«Бесспорно, что христианство играло и играет громаднейшую роль в истории культуры, но мне кажется, что личность Христа тут почти ни при чем. Не говоря о том, что личность Христа более мифическая, чем реальная, что многие историки сомневаются в самом существовании его, что в еврейской истории и литературе о нем даже не упоминается, что сам Христос вовсе не основатель христианства, т. к. последнее сформировалось в религию и церковь лишь через несколько столетий после рождения Христа, — не говоря обо всем этом, ведь сам Христос не смотрел на себя, как на спасителя рода человеческого. Почему же Вы и Ваши присные (Мережковский, Бердяев и др.) ставите Христа центром мира, богочеловеком, святою плотью, моноцветком и т. п.? Нельзя же допустить, чтобы Вы и Ваши присные искренно верили во все чудеса, о которых рассказывается в Евангелиях, в реальное, конкретное воскресенье Христа. А если все в Евангелии о чудесах иносказательно, то откуда у Вас обожествление хорошего, идеально чистого человека, каких, однако, всемирная история знает множество? Мало ли хороших людей умирало за свои идеи и убеждения? Мало ли их претерпело всевозможные муки в Египте, Индии, Иудее, Греции? Чем же Христос выше, святее всех мучеников? Почему он стал богочеловеком?

Что касается сущности идей Христа, насколько они выражены Евангелием, его смирения, его благодушия, то среди пророков, среди браминов, среди стоиков найдете не одного такого благодушного мученика. Почему же, опять-таки, один Христос спаситель человечества и мира?

Затем никто из вас не объясняет, что же было с миром до Христа? Жило же чем-нибудь человечество сколько тысячелетий без Христа, живут же четыре пятых человечества и в настоящее время вне христианства, стало быть, и без Христа, без его искупления, т. е. нисколько в нем не нуждаясь. Неужели все бесчисленные миллиарды людей погибли и обречены на погибель потому только, что они явились на свет до Спасителя-Христа, или за то, что они, имея свою религию, своих пророков, свою этику, не признают божественность Христа?

Наконец, ведь девяносто девять сотых христиан до сего времени понятия не имеют об истинном, идеальном христианстве, источником которого считаете Христа. Ведь отлично же знаете, что все христиане в Европе и Америке скорее поклонники Ваала и Молоха, чем моноцветка Христа; что в Париже, Лондоне, Вене, Нью-Йорке, Петербурге и в настоящее время живут, как жили раньше язычники в Вавилоне, Ниневии, Риме и даже Содоме… Какие результаты дали святость, свет, богочеловечность, искупление Христа, если его поклонники остаются язычниками до сих пор?

Имейте мужество и отвечайте ясно и категорично на все эти вопросы, которые мучат непросвещенных и сомневающихся скептиков, а не прячьтесь под ничего не выражающие и непонятные восклицания: божественный космос, богочеловек, спаситель мира, искупитель человечества, моноцветок и т. п… Подумайте о нас, алчущих и жаждущих правды, и говорите с нами человеческим языком».

Таково было последнее credo старого и верного себе до конца «Писарева еврейства».

Его последнее письмо уже звучит, как эпитафия. Мы узнаем из него, что летом 1907 г. у Ковнера открылась мучительная болезнь — язва и опухоль в круглой кишке, и что вскоре после этого он подвергся в Варшаве труднейшей и мучительнейшей операции.

«Если бы не уход моей „единственной“, — пишет он 10 февраля 1907 г., — я давно был бы в селениях „миров иных“, куда я охотно перешел бы, но пока „единственная“ не пускает. Операция оставила на мне непоправимый след, который отравляет мне жизнь. И вот вместо цветущего и бодрого старика, каким вы меня видели в последний раз, я стал почти

беспомощным калекой…»

Еще год медленной агонии — и весною 1909 г. Аркадия Григорьевича Ковнера не стало. Несколько газет, в том числе и «Новое время», поместили краткие и сдержанные некрологи о кончине «небезызвестного в свое время» сотрудника видных петербургских изданий, впоследствии совершенно сошедшего с журнальной арены. Почти никто не знал о той неиссякающей стихии подпочвенной публицистики, которая продолжала по прежнему сочиться и бить живой струей даже со смертного одра этого всеми забытого журналиста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Литературные современники не пощадили Ковнера. В среде своих соплеменников он встретил особенно яростных врагов, не скупившихся на памфлетические оценки и резкую полемику. «Злостный разрушитель», «доносчик и предатель своего народа», «зловредный опустошитель» — таковы характерные оценки его деятельности на столбцах национальной журналистики. Обвинения эти были настолько тенденциозны и несправедливы, что редакторам русских изданий приходилось вступаться за своего сотрудника, снимая с него незаслуженные укоры. Так редактор «Голоса» Краевский выступил в еврейской печати с письмом, защищавшим арестованного Ковнера от необоснованных нападок его прежних антагонистов.

Еврейство бросило Ковнеру упрек в отступничестве и предательстве. Но его отказ от национальных традиций представлял собой сложную и тонкую душевную драму, не поддающуюся резко-прямолинейной формулировке. Потребность поставить в своем сознании всечеловеческое начало выше национального и с этой новой, более свободной и широкой точки зрения отнестись и к своему народу, — это стремление не могло, конечно, встретить правильной оценки среди ревнителей национальной старины. Не впервые старый Израиль с горечью и негодованием видел в своей среде мятежный ум, восстающий на его сорокавековый житейский опыт и древнюю мудрость.

У Ковнера было немало предшественников в этом новаторском устремлении. Немало схожих «случаев совести» он мог наблюдать среди своих старших и младших современников. В те дни, когда подросток Авраам-Урия слушал знаменитых раввинов в душных захолустных ешиботах Литвы, в Париже медленно умирал творец «Романцеро», уже переживший сложную душевную эпопею ухода от еврейства. А через полстолетия, в те годы, когда старый ревизор Ломжинской контрольной палаты вступал в переписку с Розановым, в Вене покончил с собой даровитейший еврейский юноша, успевший развернуть в своей единственной книге «Пол и характер» резкую критику своего национального духовного типа. Еврейство, по мнению Вейнингера, не способно на гениальность и достигает творческих ценностей лишь в преодолении своей природной сущности.

К этим скептическим ценителям библейского духа и духовным беженцам от иудаизма принадлежали в известном смысле и Спиноза, и Бёрне. Но в отдалении столетий Ковнер имел одного предшественника, особенно напоминающего

сущность его внутренней драмы.

Португальский маран Габриэль-да-Коста, получивший среди своих соплеменников имя Уриеля Акосты, являл в Амстердаме XVII столетия знакомую нам драму борьбы с традиционным иудаизмом. Мыслитель-рационалист, воспитанный в католическом духе, он восстал против учения своих наставников — иезуитов — и отверг их основной догмат о бессмертии души. Вернувшись в еврейство, к которому принадлежали его предки, он испытывает новое разочарование, встретив здесь вместо живительного «земного» учения сухую, обрядную схоластику, утверждавшую те же начала загробной жизни. Желая во что бы то ни стало «добиться свободы», он вступает в жестокую борьбу с раввинами, громит «фарисеев», пишет книги против догмата личного бессмертия, наконец делает отважнейшую попытку освободить мораль от богословской основы, подведя под нее законы человеческой природы — «естественную свободу человека». Ему отвечают тюрьмой, изгнанием, публичным сожжением его сочинений, наконец, позорными всенародными отлучениями. С именем этого трагического протестанта связана память об одном из сильнейших столкновений старинной иудейской традиции с волной новых идей, смывающих отжившие ткани тысячелетних учений.

Через два столетия этот «амстердамский саддукей» протягивает руку безвестному герою нашей повести. В обоих случаях мы встречаем те же сомнения, тот же разрушительный пафос, те же резкие вызовы самоупоенной рутине, и во многом — ту же судьбу. Но только боевое настроение Ковнера осложнялось некоторыми обстоятельствами исторического порядка.

Свой отказ от еврейства ему пришлось переживать в реакционной России, в эпоху злейших гонений на его соплеменников. Это разбивало все его отвлеченные позиции и возвращало к горячей защите тех явлений и фактов, против которых сам он идеологически восставал. Правда, он не переставал подчеркивать, что защищает еврейство не как нацию, а как людей-мучеников, но это нисколько не понижает его пламенного заступничества за них и решительной борьбы с их врагами.

Борьба эта велась долго, в большом масштабе и решительными средствами. Письма к Достоевскому, Розанову и, вероятно, Толстому — лишь эпизоды этой кампании. Особенно примечательна здесь «Записка о положении евреев в России», лично поданная автором министру юстиции Муравьеву. Враждебно настроенный к Ковнеру еврейский литератор А. И. Паперна, выслушав эту записку в его чтении, был глубоко

умилен ее тоном и содержанием: «Чтение длилось около часа. Записка составлена была с большим умением. Все в ней было логично обосновано и поражало детальным знакомством с положением евреев. Он читал с большим чувством, ясно было, что слова выходили из горячо любящего, болеющего сердца. И чем дальше он читал, тем он все вырастал в моих глазах, и в тот момент я почти забыл, что предо мой сидит выкрест, доносчик и предатель народа».

Даже этот враждебно настроенный слушатель почувствовал глубокий тон искренней и мучительной думы в этом странном «отступнике», исполненном такого живого сочувствия к своим «покинутым собратьям».

Эта основная нота глубокой боли за незаслуженные муки слышится неизменно в раздумьях Ковнера на всем протяжении его долгого умственного пути. При неизбежных метаниях, отступлениях, ошибках и перебоях основная линия его мысли, явственно наметившаяся в его первых страницах, проходит, углубляясь и ширясь, через всю его печатную и эпистолярную публицистику. Если в чисто моральном отношении он сравнительно поздно пришел к отчетливому осознанию своих воззрений (в 70-е годы, когда он допускал месть как средство расплаты с врагами, он был еще далек от кроткой этики Гиллеля), — то в остальном он рано определил свои убеждения и никогда не изменял им. В 60-е годы он не без усилия победил в себе талмудиста и принял самую передовую общественно-философскую доктрину этой поры. Преодоление национализма, борьба с богословским миросозерцанием, в котором он усматривал источник всех бедствий современного еврейства, стремление устроить общество на началах разума и справедливости — все это ложится в основу его воззрений и окрашивает все его писания. Его боевые книги 60-х годов, его журнальная деятельность, его ранняя беллетристика одинаково проникнуты этим протестантским духом, заслужившим ему кличку «опустошителя и разрушителя» со стороны еврейства и «безусловные запреты» его страниц со стороны русских властей. В следующем десятилетии он пишет свои письма к Достоевскому, в которых широко разворачивает свою атеистическую философию и проповедь высшего гуманизма. В 80-х годах, пережив свою катастрофу, он как бы озаряет свои воззрения постулатом той доброты и благожелательности, которой недоставало ему в момент его рокового поступка. В эту эпоху слагается та форма его убеждений, которая так отчетливо отлилась в его трактате, посланном впоследствии Розанову.

И, наконец, уже накануне смерти он подробно излагает

автору «Религии и культуры» свою критику христианства, выражая решительное осуждение новейшему религиозно-философскому направлению русской интеллигенции. Эволюции основных воззрении Ковнера нельзя отказать в цельности и органичности.

Система его убеждений рельефно выразилась в следующей странице его письма к Розанову (от 7 октября 1901 г.).

«…Я давно, после долгой борьбы и долгих мучений пришел к полному убеждению, что нигде и ни в чем нет „секрета, тайны, шифра и чуда“, что сказания о сотворении мира, Аврааме, Моисее, субботе, и т. д. такие же детские сказки, как предание о египетских мистериях, чудесах Будды, „таинствах“ христианства, Николая Чудотворца и о. Иоанна Кронштадтского. Помните чудное стихотворение Шиллера о юноше и Изиде? Юноша увидел Истину — Ничто, и тут же упал и умер. Я также умер для познания истины о религиях, о боге и богах, о цели жизни, человечестве, Вселенной. Мое credo — это чудное пушкинское стихотворение:

„Дар напрасный, дар случайный“.

А раз — „цели нет передо мною“, то какое мне дело до смысла или бессмыслия обрезания, суббот, крещения, брака, даже до прогресса, всемирной истории, малых дел и великих слов, которыми убаюкивают себя мыслители и пророки всех времен и народов?»

К такому миросозерцанию пришел путем длительной эволюции, «после долгой борьбы и долгих мучений» этот неутомимый искатель целей существования, уже с детства пораженный чудовищным фактом бессмысленных массовых угнетений.

Этот высокий тон альтруистической думы и горячего протеста против неправды текущего во имя иной социальной справедливости сообщает фигуре этого забытого публициста вневременное значение.

Но изучающий пристально биографию Ковнера не может отрицать в ней рад компромиссов, ошибок и ложных шагов. При близком рассмотрении повседневных фактов, сплетающих ткань этой личной судьбы, не все в ней оказывается на той моральной высоте, какую можно ожидать от одаренного мыслителя, искренне встревоженного проблемами нравственного порядка и сущностью мирового зла. Он не всегда умел выбирать в житейских затруднениях прямой и открытый путь.

И все же исконная внутренняя природа этого много блуждавшего и нередко заблуждавшегося сознания вполне оправдывает зоркие слова его последнего корреспондента: «Кто

умеет по стилю письма судить о человеке, увидит, что это — правдивая и ясная душа». То высокое и нравственное оправдание, которое Ковнер получил от Достоевского или Розанова, намечает и отношение к нему потомства. Отвлекаясь от его ошибок и блужданий, мы должны признать в нем крупную умственную силу, чье незаметное действие на современников было во многом благотворно и чье скрытое влияние еще доходит до нас живыми волнами вечно-актуальных запросов, требований, идей и начертаний.

Ковнер не был, конечно, великим мыслителем и не создал новой законченной системы мировоззрения. Но он был замечательным возбудителем идей, вечно встревоженным фактами безвинного человеческого страдания. В своих протестах, обращенных к министрам и писателям, в своем горячем и проникновенном заступничестве за мучеников современности — истязаемых политических, преследуемых «иноверцев» — этот маленький журналист вырастает в крупную идеологическую фигуру, исполненную благородства и убедительной силы. Несколько страниц его безвестной и жгучей переписки искупают все прегрешения его трудного пути. Исповедуя служение человечеству без различия национальностей, каст и рас, он рыцарственно служил и своему народу, от которого уходил подчас с обвинениями и укорами и с которым все же остался до конца связан живыми нитями своей «всечеловеческой» любви.

Приложение
ДОСТОЕВСКИЙ И ИУДАИЗМ

I

Достоевского постоянно упрекали в антисемитизме. При жизни он получал письма, в которых с горечью и недоумением безвестные корреспонденты спрашивали автора «Дневника писателя» о причинах его непримиримой ненависти к еврейству. После смерти его имя не перестают упоминать в связи с каждым новым взрывом националистической вражды. Последний ритуальный процесс в Киеве вызвал в печати новые укоры его памяти, а в судебных прениях — новые ссылки на его авторитет. Вспомнили, что Алеша Карамазов, монах и любимый герой Достоевского, уклончиво отговорился незнанием на категорический вопрос своей собеседницы — «правда ли, что жиды па пасху детей крадут и режут». А в самом разгаре процессуальной борьбы представитель государственного обвинения решился бросить своим противникам в качестве последнего довода великое имя национального гения. С прокурорской трибуны прозвучали слова: «Достоевский предсказывал, что евреи погубят Россию».[19]

Всякий, изучавший Достоевского, знает, что этих слов он никогда не произносил в своих писаниях. Ни в полных собраниях его сочинений, ни в письмах, ни в записных книжках, ни в доступных изучению рукописях Достоевского их невозможно найти. Нет их и в многочисленных воспоминаниях о покойном писателе его друзей и случайных собеседников. И конечно, только его прочно установившаяся репутация «колоссального консерватора» могла допустить это официальное приписывание ему тех тяжких и ответственных слов, которые он никогда не произносил.

Отсутствие их в писаниях Достоевского подтверждается и тем, что уже за четыре года до смерти он категорически опровергнул всякие обвинения его в антисемитизме.

«Всего удивительнее мне то, как это и откуда я попал в ненавистники еврея, как народа и нации… Когда и чем заявил я ненависть к еврею? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я с самого начала и прежде всякого слова с себя это обвинение снимаю раз навсегда».

Но эти укоризненные вопросы настолько задели его, что он не перестает возвращаться к их опровержению.

«Не хочу нести на себе такое тяжелое обвинение», — пишет он в «Дневнике писателя» по поводу полученного им нового укора. «Нет, — спешит он опровергнуть заявление в несомненности своего антисемитизма, — против этой очевидности я восстану, да и самый факт оспариваю. Напротив, я именно говорю и пишу, что все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, — все это должно быть сделано для евреев…»

И в своих письмах он так же энергично протестует против этих обвинений. «Я вовсе не враг евреев и никогда им не был», — пишет он одному из своих корреспондентов.

Быть может, во всех этих заявлениях Достоевский несколько преувеличил отсутствие у себя в сердце всякой неприязни к еврейству. Приверженец славянофильской философии или точнее — русского мессианизма, оставивший злейшие памфлеты на немцев, французов и даже на поляков и болгар, Достоевский, несмотря на все свои заявления, не исключал евреев из круга этих неугодных ему народов. Отрицать огулом всякие антисемитские тенденции в Достоевском было бы, несомненно, искажением истины. Но при всей обоснованности этих обвинений Достоевский все же, несомненно, имел право протестовать против них.

Двойственное и многообразное, как многие раздумья Достоевского, его отношение к еврейству нельзя исчерпать одной категорической формулой. И здесь, как во всех его идейных течениях, вражда боролась с сочувствием, и разрушительная ненависть сдерживалась неожиданными приступами сострадательного внимания. Как Рихард Вагнер, с которым у Достоевского столько общего, он был антисемитом, но, как этот апологет христианского искусства, он останавливался в нерешительности перед последними выводами своей философии.

Как публицист охранительного толка, он должен был относиться отрицательно к скитальческому народу, ищущему волею судеб приюта в безграничных равнинах его родины. Но скрытые стихии его гения незаметно побеждали предвзятые тенденции его публицистики.

Как журналист и человек своей эпохи, как полемист с западниками и партийный деятель, как редактор «Гражданина» и воинствующий памфлетист — во всем этом повседневном и случайном Достоевский, несомненно, проявлял себя антисемитом. Но в глубине и на вершинах своего творчества, там, где отпадало все наносное и выступало абсолютное, он изменял

своим журнальным программам и публицистическим тенденциям. Достоевский как художник и мыслитель в мелькающих обрывках своих страниц неожиданно обнаруживает глубокое влечение к сложной сущности библейского духа.

II

Но и публицистика его далеко не сплошь была враждебна еврейству. Это сказалось уже в раннюю эпоху его редакторской деятельности, в самом начале 60-х годов.

Позиция, занятая журналом Достоевского и поднявшаяся по национальному вопросу полемика представляется, несомненно, значительной для его тогдашних воззрений.

Это любопытный эпизод из истории русской журналистики.

В разгаре реформ, 27 ноября 1861 г., был издан закон, предоставивший гражданские права евреям, имеющим дипломы на ученые степени доктора, магистра или кандидата. Русские журналы встретили с единодушным сочувствием эту новую меру, родственную всему духу тогдашних преобразований.

Но один голос прозвучал диссонансом. Газета «День» поместила передовую статью, в которой проводила взгляд, что новый закон нельзя понимать без ограничения. После этого вступления следовал открытый поход на евреев, которые, по словам газеты, «совершенно отрицают христианское учение, христианский идеал и кодекс нравственности» и проч. В заключение приводилось соображение, которым охранительный публицист пытался в корне парализовать возможность допущения евреев к службе по всем ведомствам. «Нельзя же предположить, — заключал он, — чтобы обер-прокурором синода мог сделаться еврей».

Журнал Достоевского в ряду других периодических изданий, горячо запротестовавших против статьи «Дня», ответил на его выпад энергичной отповедью.

«И ничего более точного, более определенного не мог привести ревнитель христианской веры? — спрашивает „Время“ Достоевского по поводу аргументации „Дня“. — И не обманывает он себя и других звоном фраз? Что же после этого евреи? Верно, не люди, а дикие звери, опасные для порядка нравственного и всего частного, общественного и государственного быта… Жалкие друзья, которые вредят христианству более, чем его враги!»

И, касаясь по существу доводов приведенной статьи, журнал Достоевского продолжает:

«Если бы в иудействе было что-нибудь вредное для

христианства, то для христианского общества охранение от этого вреда, очевидно, может заключаться только в его вере. „День“ ищет другой охраны: он желал бы видеть ее в законе, ему стоит сделать еще шаг — и он будет искать ее в огне и мече… Учение мира, любви и согласия должно бы возбуждать другие мысли и другие речи».

Этим полемика не закончилась. В одном из следующих номеров «Дня» появилась статья некоего Александрова с данными из Талмуда, которые будто бы должны были послужить сильным доводом против гражданственности евреев. Статья эта начиналась знаменательными словами:

«Единогласно поднявшиеся со всех сторон, печатно и устно, возражение на статью „Дня“ об евреях заставляют обратить на нее особое внимание…» Считая вернейшим средством поразить своих противников обращением к первоисточникам, автор статьи берется за толкование Талмуда.

В ответ на эту богословскую публицистику журнал Достоевского помещает подробное возражение под заглавием: «Ответ г. Александрову по поводу его набегов на Талмуд». Большая статья в печатный лист по пунктам опровергает все комментарии газетного теолога.

Редакция «Времени» поместила и сопроводительное письмо автора этого возражения, Петра Лакуба, в котором он отмечает благородную позицию, занятую журналом Достоевского в поднявшейся полемике.

Гораздо позже, уже под конец жизни, Достоевскому пришлось вторично высказаться по тому же вопросу. Со времени защиты еврейского равноправия на страницах своего первого журнала он успел написать «Бесы», редактировать в течение целого года «Гражданин», выпустить несколько годовых экземпляров «Дневника писателя». Его публицистическая программа обнаружилась во всей своей отчетливости. Но, несмотря на это, Достоевский решился и теперь держаться своей позиции начала 60-х годов и по-прежнему отстаивать равноправие евреев.

«Несмотря на все соображения, мною выставленные, — пишет он в „Дневнике писателя“ за 1877 г., — я окончательно стою, однако, за совершенное расширение прав евреев в формальном законодательстве и, если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением».

И на обычные возражения о необходимости считаться с протестами самого русского народа против уравнения с ним в правах еврейства Достоевский по личному опыту опровергает эти доводы.

«Нет в нашем простонародьи предвзятой, априорной, тупой,

религиозной какой-нибудь ненависти к еврею. Весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесят лет видел это. Мне даже случалось жить в массе народа, в одних казармах, спать на одних нарах. Там было несколько евреев, и никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их».

Он заканчивает свою статью категорическим заявлением:

«Да рассеется все это скорее, и да сойдемся мы единым духом в полном братстве на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему. Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере и с совершенным уважением к историческому факту этого различия».

Но, несмотря на все эти благожелательные заявления, Достоевскому в конце 70-х годов уже трудно скрыть свое отрицательное отношение к еврейству. Свои примирительные тезисы он сопровождает целым рядом оговорок и отступлений. Гуманные тенденции публицистики парализуются конечными выводами.

В статье «Дневника писателя» о еврейском вопросе немало страниц откровенного антисемитизма со всеми традиционными аргументами националистической прессы. Тут и указания на «вековечный золотой промысел», на отчужденность еврейства от других национальностей, на всеобщую ненависть к «еврею-процентщику», на эксплуатацию беззащитного народа. В своей записной книжке он повторяет все обычные доводы антисемитизма. По его словам, Бисмарки, Биконсфильды, французская республика и Гамбетта — все это мираж перед истинным владыкой Европы — «жидом и его банком».

В своей аргументации Достоевский нигде не поднимается над обычными ходячими доводами националистической прессы. Антисемитизм его носит не философский, а чисто газетный характер. Он нигде не возвышается до синтезов Чемберлена или Вейнингера и почти всюду остается на уровне фельетонных выпадов Дрюммонов и Мещерских. Его обычная тяга к глубинам духа здесь решительно изменяет ему, и на всем протяжении своего журнального очерка о евреях он ни разу не пытается пристально вглядеться в их историю, этическую философию или расовую психологию.

III

Эти враждебные тенденции своей публицистики Достоевский проявлял и в своем художественном творчестве. Та исконная неприязнь к еврейству, которая прорывается сквозь все примирительные заявления «Дневника писателя», чувствуется и на некоторых фигурах его художественной галереи. Искажение линий портрета до карикатурных изломов и сгущение красок до образного памфлета — вот обычные и невольные приемы Достоевского при изображении представителей чужих наций.

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский зачертил образ своего товарища по каторге, Исая Фомича Бумштейна. Он это сделал без особенного озлобления, местами даже с оттенком добродушного юмора, но все же с явной тенденцией в сторону карикатуры.

Это сказывается уже на внешнем очерке арестанта: «Исай Фомич, наш жидок, был как две капли воды похож на общипанного цыпленка. Это был человек уже немолодой, лет около пятидесяти, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же самое время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив и в то же время ужасно труслив. Весь он был в каких-то морщинах, и на лбу и на щеках его были клейма, положенные ему на эшафоте. Он хранил у себя рецепт мази, вытравляющей эти позорящие знаки. „Не то нельзя будет зениться, — сказал он мне однажды, — а я непременно хочу зениться“».

В тех же карикатурных тонах намечена и внутренняя характеристика этого каторжника-еврея.

«В нем была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства», — тщательно собирает Достоевский все нравственные черты, способные наложить позорящие клейма и на душу этого ошельмованного арестанта.

Это был шут казармы. «Исай Фомич очевидно служил всем для развлечения и всегдашней потехи», — отмечает Достоевский.

Шутки арестантов над евреем представляются ему до такой степени дружелюбными и ласковыми, что он решается даже в одном месте отметить, что каторжные вовсе не смеялись над Исаем Фомичем.

К чему же сводились их безобидные шутки? Когда еврей впервые появился в остроге и взмостился на нары, не смея ни на кого поднять глаза от страха, вокруг раздался смех и осторожные шуточки, имевшие в виду происхождение новоприбывшего.

— Эй, жид, приколочу! Эй, жид, хватишь кнута!.. Христа продал… и проч.

Для острожных обитателей все это было наиболее

естественной формой обращения с жидом. Может ли пасть хоть тень осуждения на этих клейменных преступников, если присутствовавший при этих сценах великий писатель и страстный проповедник человеколюбия считал, что еврея «никто не обижал»?

Да и можно ли обидеть словом домашнее животное? Достоевский с поражающей искренностью сводит каторжного еврея на степень бессловесного существа, стоящего совершенно вне возможности обид, оскорблений, требований самолюбия и протестов возмущенного чувства собственного достоинства. Он с полным сочувствием и даже с известным оттенком похвалы отмечает, что еврея дразнили «вовсе не из злобы, а так, для забавы: точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и пр.»

Но, приводя это соображение, Достоевский забывает, что со своими домашними животными каторжники обращались гораздо лучше, чем с Исаем Фомичем, и ни общий любимец Гнедко, ни увитый гирляндами козел Васька никогда не слыхали той оскорбительной брани, которая градом сыпалась на голову острожного еврея.

Общий шут представлялся и самому Достоевскому комической фигурой. В каждом жесте и слове своего каторжного приятеля он склонен видеть паясничество или невольный повод для смеха. Даже субботние обряды еврея вызывают в нем скептическую усмешку.

Это описание еврейской молитвы в «Записках из Мертвого дома» принимает совершенно неожиданный для Достоевского насмешливый характер. Он не скрывает, что чужой обряд смешил его, и не перестает описывать его в ироническом тоне, как забавную буффонаду.

«Он с педантской и выделанною важностью накрывал в уголку свой крошечный столик, развертывал книгу, зажигал две свечки и, бормоча какие-то сокровенные слова, начинал облачаться в свою ризу (рижу, как он выговаривал)… На обе руки он навязывал наручники, а на голове, на самом лбу, прикреплял перевязкой какой-то деревянный ящичек, так что, казалось, изо лба Исая Фомича выходил какой-то смешной рог. Затем начиналась молитва. Читал он ее нараспев, кричал, отплевывался, оборачивался кругом, делал дикие и смешные жесты…» При неожиданном появлении майора Исай Фомич начал, по словам Достоевского, «еще больше кричать и кривляться»…

В «Записках из Мертвого дома», в этой мрачнейшей из мрачных книг мирового творчества, это — единственная

страница, где слышится смех ее автора…

IV

Но художественный гений писателя выше его предвзятых намерений, и, несмотря на явную тягу Достоевского к карикатуре, его творческая стихия и общечеловеческий дух спасают его образ от шаржа и раскрывают в нем глубокий и трогательный смысл.

В беглом описании чувствуются вечно трагические черты судеб гонимого племени. Каторжный еврей, несомненно, невинно осужденный. Достоевский, так подробно описывающий во всех случаях преступное прошлое своих каторжных товарищей, ограничивается здесь кратким указанием: «пришел он *по обвинению* в убийстве». Не «за убийство», не «за грабеж», как категорически отмечается в других случаях, а только по обвинению в убийстве, очевидно, недоказанном, по подозрению и оговору. Если принять во внимание, что Достоевский в другом месте указывает: «еврей был незлобив, как курица», если сопоставить с этим обвинением его всегдашнюю робость, беззащитность, забитость и покорность, если вспомнить, наконец, его физическое тщедушие, — это подозрение в убийстве само собою будет опровергнуто всем обликом этого каторжника, очевидно, не более заслужившего двенадцатилетний острог, чем Достоевский свой смертный приговор.

И вот этот невинно осужденный, подвергнутый до острога наказанию плетьми и позорящему клеймению, попавший в отдаленную Сибирь в двухсотенную ватагу преступников, сохраняет всю свою поистине героическую незлобивость и одинаково заслуживает любовь всех каторжников и дружбу великого ненавистника его расы — Достоевского.

На оскорбительные издевательства он отвечает своим примирительным «нехай буде такочки» или какой-то бессловесной песнью, имеющей для него значение священного гимна. Неудивительно, что при этой безграничной кротости он обезоруживает всех окружающих. «Его действительно все как будто даже любили и никто не обижал», — с удивлением отмечает Достоевский. «Он у нас один, не троньте Исая Фомича», — говорят арестанты.

И, вопреки позднейшим указаниям Достоевского на органическую отчужденность евреев от прочих народов, на их брезгливое отделение от всего остального человечества, Исай Фомич проявлял широкую общительность в этой чуждой ему толпе. Даже на расспросы Достоевского о его молитвах и песнях

он с особенной охотой подробно и вдохновенно рассказывал ему о заветах и преданиях своей истории.

Каторжный тут, быть может, помимо желания своего автора, вызывает в читателях «Мертвого дома» глубокое сочувствие. Мы видим этого тщедушного, хилого, почти старого человечка, заброшенного без вины в каторжный ад Сибири, где в толпе преступников, полных брани и презрения к его национальности, он благоговейно и открыто хранит заветы своих предков. Не пугаясь своего одиночества в этой чужой и суровой толпе, он в острожной казарме остается верен своему внутреннему исповеданию.

Появление грозы всей каторги — плац-майора — и даже брошенное им в лицо молящегося «дурак» не нарушает его сосредоточенности. И когда Достоевский описывает «кривляния» молящегося, когда он отмечает его переходы от одного настроения к другому — «то вдруг закроет руками голову и начинает читать навзрыд; рыдания усиливаются, и он в изнеможении и чуть не с воем склоняет на книгу свою голову, увенчанную ковчегом», — иронические намерения автора исчезают перед величественной и грустной правдой описанного факта.

Мы знаем, что Исай Фомич в такие мгновения не «нарочно рисовался и щеголял своими обрядами», как понял это Достоевский. Вековая скорбь народа, которой и он должен был быть случайным и незаметным носителем, невольно приняв и на свои хилые плечи частицу общего бремени беспричинных гонений, поднимала его грудь такими выстраданными рыданиями, что его скорбь в этом великом одиночестве сибирских равнин исключала всякую возможность рисовки или позы.

И, несмотря на все свое ироническое отношение к своему случайному герою, автор «Мертвого дома» не может побороть своей скрытой симпатии к нему. Главы «Записок» об Исае Фомиче — невольная апология еврейства. Иронический тон рассказа местами прерывается нотками ласкового юмора, и великий сердцевед должен отказаться от своей карикатуры, чтобы отметить глубокие общечеловеческие черты в своем комическом объекте.

Быть может, отголоски этих острожных бесед с евреем слышатся и в позднейших страницах Достоевского. Автор «Дневника писателя» по поводу текущих газетных тем вспоминает отношение каторжников к еврею. И вот в публицистике Достоевского, как и в «Записках из Мертвого дома», сквозь все враждебные уклоны статьи начинают звучать слова невольного

сочувствия.

Без всякой иронии, в совершенно серьезном тоне Достоевский отмечает, что «окончательное слово человечества об этом *великом племени* еще впереди». И с глубоким сочувствием он продолжает изображать его связующие силы.

«Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнесть своего последнего слова».

И здесь раскрываются причины невольного влечения Достоевского к «народу-книжнику».

С ранней поры до своих последних страниц Достоевский не переставал с глубочайшим вниманием всматриваться в каждую попытку разрешения проблемы *всемирного единения.* В молодости философия романтизма и учение утопического социализма привлекали его своими универсальными заданиями. Впоследствии библейская проповедь всемирного братства и окончательного объединения человечества ответила тем же запросам его духа. В многовековой философии иудаизма ему раскрывались пути к исходу его тоски по конечному соединению племен и наций в один великий «общечеловеческий» союз.

V

Для понимания иудаизма у Достоевского было в руках верное средство. Библия оставалась одной из его любимейших книг от детства до самой смерти. Это, конечно, не прошло бесследно для его мышления. В Библии остро поставлены те основные идеи о судьбах человечества и смысле жизни, которые стали центральными в философии Достоевского. Мысль пророков о необходимой справедливости в здешнем мире и первый негодующий запрос о человеческом страдании в книге Иова, великое возмущение всеми нарушениями человеческой правды и тяга к тому полному расцвету жизни, который воплощен в патриархальных легендах Библии — всем этим книга Бытия, Экклезиаст и Псалмы близки творчеству Достоевского. Недаром в своей последней книге он дал проникновенную характеристику Ветхого завета, признав его как бы вечным изваянием мира и человека.

История знакомства Достоевского с Библией представляет крупный интерес в обзоре его книжных увлечений. Замечательно, что первой его книгой, по которой в семье Достоевских учили читать всех детей, были «Сто четыре священных истории Ветхого

и Нового завета», иллюстрированные старинными литографиями, изображающими сотворение мира, потоп и проч. Экземпляр этой старенькой книги, случайно разысканный Достоевским в конце 70-х годов, хранился у него как святыня, и в своем последнем романе он посвятил этой детской антологии несколько благоговейных строк.

Краткое изложение Библии в «Братьях Карамазовых» отмечает наиболее поразившие Достоевского замыслы и образы Библии. Он говорит об Аврааме и Сарре, об Исааке и Ревекке и о том, как Иаков пошел к Лавану. Он восхищается «трогательной и умилительной повестью о прекрасной Эсфири и надменной Вастии» и «чудным сказанием о пророке Ионе во чреве китове»… В первых же строках этого краткого изложения Библии упоминается одна из глав, наиболее поразивших его: это рассказ о богоборчестве Иакова. В своем поучении Зосима даже сливает два места Библии: рассказ о сне Иакова по пути к Лавану (Бытие, XXIX, 11–12) и о его ночной борьбе с неведомым ангелом. Он усиливает трагизм этого загадочного места о богоборчестве Израиля тревогой и ужасом другой библейской страницы (Бытие, XXXIII, 24–32).

Идея победоносной борьбы человека с Богом должна была глубоко поразить Достоевского, и не случайно упоминание этой библейской страницы в самой богоборческой книге новейшей литературы, сосредоточившей сильнейшие антирелигиозные аргументы в поэме и замыслах Ивана Карамазова.

Но еще характернее толкование Достоевского о «сновидце и пророке великом» Иосифе, где простое библейское изложение предательства братьев разрастается в сложную психологию совместной любви и мучительства в сердце египетского царедворца.

Но из всей Библии сильнейшее впечатление на Достоевского оказала книга Иова — этот первый в истории человеческой мысли бунт против неба из-за безмерности человеческого страдания. Помимо чисто идейных отголосков этой библейской книги в философии Ивана Карамазова в романе имеется и страница непосредственного объяснения ее. Это изложение и истолкование книги Иова в «Братьях Карамазовых» при всей своей краткости может считаться одним из глубочайших комментариев к библейской поэме. Все возражения, все атеистическое беспокойство, все сомнения совести, протестующей во имя высшей справедливости против безмерных страданий прокаженного праведника, отозвавшись родной болью в сердце Достоевского, опровергаются им всем тяжелым опытом его собственной многострадальной жизни.

Он формулирует первый неизбежный вопрос гуманистического скептицизма о страданиях неповинного Иова.

«Как это мог Господь отдать любимого из святых своих на потеху диаволу, отнять от него детей, поразить его самого болезнью и язвами так, что черепком счищал с себя гной своих ран, и для чего: чтобы только похвалиться перед сатаной: вот что, дескать, может вытерпеть святой мой ради меня. И можно ли принять заключение Библии: „Проходят опять многие годы и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их…“ Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех, прежних, нет, когда тех лишился?..»

И в ответ на это глубокое сомнение следует замечательнейшее истолкование книги Иова, по которому чувствуется, что смысл ее никогда не переставал приковывать внимание и возбуждать раздумья Достоевского. Это — комментарий, над которым автор его думал и мучился всю свою жизнь, с трудом осиливая темные загадки текста и постепенно просветляя их недоступный смысл каждым новым пережитым страданием.

Достоевскому-теоретику отвечает облеченный великим житейским опытом автор «Карамазовых». Неутешный над гробом своей первой жены и своей первой девочки, готовый принять крестную муку для воскрешения своей дочери и впоследствии нашедший спокойное счастие в новой семье, с другой женой и другими детьми, он знает по опыту великую мудрость жизни, необъяснимую никакой логикой земного, эвклидовского ума.

«Но можно, можно: старое горе великой тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость».

Вот великий жизненный закон, провозглашенный Библией в книге Иова и раскрывший свой смысл Достоевскому после всех пережитых им страданий. Недаром в своей последней книге он признается, что и в старости не может «читать эту пресвятую повесть без слез — столько в ней великого, тайного и невообразимого». В своем предсмертном романе он признается, что библейская поэма вызывает в нем такое же смятение, как и тогда, когда «детской восьмилетней грудкой своей» он взволнованно дышал, внимая церковному чтению. Идея о неповинном страдании, поразившая восьмилетнего мальчика, мучила его в продолжение всей его жизни, пока, наконец, накануне смерти не прорвалась взрывом богоборческих протестов его последнего романа.

В ней — источник глубочайшего проникновения Достоевского в сущность иудаизма. Книга Иова, быть может, высшее выражение семитического гения, вечно озабоченного

тайнами мировой неправды и задачами общечеловеческой справедливости. Этот бунт измученного праведника против жестоких законов мироздания является одной из основных тем библейской мудрости, одинаково поднимающей рыдания Иеремии и пророков, возмущение псалмов и трагическое разочарование Экклезиаста. Это — характернейший для иудаистической настроенности протест святой человечности против безжалостных путей Провидения, сближающей вплотную грани безверия и религиозности. Возмущения прокаженного страдальца остаются до конца молитвенной жалобой на те глубокие несовершенства мироздания, которые отказывается принять просветленная совесть земного мудреца. Как во всей метафизике еврейства, здесь Бог и человек стоят лицом к лицу равноправными борцами для великого духовного поединка. И до конца борьбы они сохраняют это соотношение сил и остаются равными по могуществу замысла и величию нравственной задачи.

И арбитраж человеческой совести склонен видеть победителя этого древнейшего и вечного ратоборства не в небесах, а на гноище прокаженного. В первом философском диспуте о судьбах человечества последнее слово остается за невинно осужденным, и непорочный муж из земли Уц выходит из своего спора с Богом исстрадавшимся, но правым, как Иаков из борьбы с ангелом вышел хромым, но победоносным.

Эти героические богоборцы Библии глубоко поразили мысль Достоевского. Основною темой его творчества от Макара Девушкина до Ивана Карамазова остаются эти вариации на мировую философию книги Иова. Библейское разрешение исторической проблемы в миссии всемирного духовного братства и в пропаганде земной справедливости оказалось глубоко созвучным с основными замыслами Достоевского.

Антисемитизм нашего писателя смягчался несомненной родственностью его типа мышления с библейским духом. Прямолинейный до фанатизма, гневный до анафем, разрушительный и карающий, грандиозный в своих отчаяниях и надеждах, этот тип мышления исконно чужд и эллинистическому, и евангельскому духу. Он ближе всего к той вечно взволнованной стихии, которая взмывает негодующие стоны пророков, возмущения псалмов, отчаяния Экклезиаста и богохульные молитвы Иова.

Это уважение к этической мысли еврейства при неприязни к создавшему ее народу не должно поражать нас в Достоевском. Совмещение философского семитофильства с практическим антисемитизмом было уделом многих мыслителей. Так, Хомяков мог вдохновляться Библией для великолепного стихотворного

переложения псалмов и вдохновенной передачи заветов Исайи в прекраснейших образцах русского ямба: («Израиль, ты мне строишь храмы…» и пр.). Он мог признавать Давида прообразом и великим идеалом духовного борца:

Певец-пастух на подвиг ратный
Не брал ни тяжкого меча,
Ни шлема, ни брони булатной,
Ни лат с Саулова плеча.
Но, духом Божьим осененный,
Он в поле брал кремень простой —
И падал враг иноплеменный,
Сверкая и гремя броней.

И ты — когда на битву с ложью
Восстанет правда дум святых —
Не налагай на правду Божью
Гнилую тягость лат земных…[20]

Но это не мешало ему писать такие строфы, как «Мы — род избранный», полные осуждений, укоров и неприязни к «детям Сиона».

Достоевский был таким же представителем этого теоретического антисемитизма, исконно чуждого всех глубоких основ подлинной философской критики. Но чисто публицистическая тенденция не могла прочно утвердиться в его воззрениях, и недаром он сам опровергает обычные упреки указанием на своих многочисленных друзей-евреев. Даже на каторге, где Достоевский вообще держался особняком, и к некоторым иноверцам, как, например, к полякам, относился с резкой неприязнью, — он, по его собственным словам, был в большой дружбе с Исаем Фомичем Бумштейном.

Это было первым подлинным сближением Достоевского с евреем. Оно не прошло даром. В своих беседах с острожным товарищем Достоевский нашел неожиданное подкрепление тем своим бессознательным влечениям к библейской мудрости, которые зародились в нем еще в детстве. Он оживил художественные образы и как бы конкретизировал идеи древней книги, наблюдая своего загнанного товарища, вслушиваясь в его рассказы и священные песни.

Бедный польский еврей, сосланный в конце 40-х годов в Омский острог, бессознательно оказал великую услугу своему народу. Своими незлобными репликами на насмешки каторжников, своими рыданиями об утраченном Иерусалиме,

наконец, и непосредственными рассказами Достоевскому о надеждах и заветах своих предков он невольно укрепил в душе своего собеседника зревшее в ней семя бессознательного сочувствия к его народу.

И когда впоследствии редактор «Гражданина» и автор «Дневника писателя» открывал в своих статьях обычные враждебные походы националистической публицистики, он, может быть, невольно вспоминал жалкую фигурку своего каторжного товарища, крепкого своей действенной кротостью и моральной силой. И тогда в антисемитской статье Достоевского начинали неожиданно звучать ноты глубокого уважения к тому «великому народу», который принес человечеству идею всемирного братства и не в силах жить, отказавшись от нее.

notes

Примечания

1

В настоящее издание глава об отношениях Розанова и Ковнера вошла не полностью. — *прим. авт.*

2

Приносим благодарность Российскому Историческому Музею и Публичной Библиотеке им. Ленина (бывш. Румянцевскому Музею) за предоставленную возможность использовать в нашей работе эти материалы. — *прим. авт.*

3

Годы ученичества (*нем.*).

4

Годы странствий (*нем.*).

5

Хаим-Нахман Бялик, «Если ангел вопросит…» (1905, пер. В. Жаботинского).

6

См. особенно работы С. Л. Цинберга: История еврейской печати в России в связи с общественными течениями. — П., 1915. — Гл. XV, XX, XXI; А. Ковнер (Писаревщина в еврейской литературе). Пережитое. — С. 119, 130–159. — *прим. авт.*

7

См. напр. И. И. Замотин. Ф. М. Достоевский в русской критике. — Варшава, 1913. — Т. I. — С. 145–146. — *прим. авт.*

8

Первая его критическая статья «Слово к еврейским писателям» появилась в 1864 г. в газете «Гамелиц». — *прим. авт.*

9

Высшее право — высшая несправедливость (высшая законность — высшее беззаконие) (*лат.*).

кредо (*фр.*).

11

Мы оставляем без изменения некоторые неправильности в слоге Ковнера и в дальнейшем не оговариваем их. — *прим. авт.*

Государство в государстве (*лат.*).

13

Об этом см. подробнее в приложении: «Достоевский и иудаизм». — *прим. авт.*

14

Заковка каторжников (*фр.*).

15

Жизнь скромная, с ее нетрудными трудами… (Поль Верлен. Из книги «Мудрость». Перевод с *фр.* В. Брюсова.)

16

Хаим-Нахман Бялик, «Сказание о погроме» (1904, пер. В. Жаботинского).

17

Мы не касаемся здесь ряда тем, затронутых в письмах Ковнера к Розанову, но менее характерных для эволюции его воззрений. Таковы его рассуждения о половом вопросе (в то время весьма злободневном), о милитаризме и империализме России (во время Японской войны) и некоторые другие. Отметим его указание на одну его литературную работу, оставшуюся совершенно неизвестной; это записки в стиле Казановы, переданные Ковнером редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому. — *прим. авт.*

Брось свои иносказанья
И гипотезы святые;
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!

(Генрих Гейне. «К Лазарю». Перевод М. Л. Михайлова.)

19

Стенографический отчет по делу Бейлиса, III, 234. — *прим. авт.*

20

А. С. Хомяков. «Давид» (1841).